

D-29.

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



U  $\frac{424}{28}$

ИТАЛИЯ

ГРАЦИЯ ДЕЛЕДДА

САРДИНСКИЕ  
РАССКАЗЫ

D-29

ПУСК  
№ 9



СТАСБУРГ  
MCMXIX





Вып. № 9.

У 424  
28  
D-29  
964  
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГРАЦИЯ ДЕЛЕДДА

• GRAZIA DELEDDA

1872

САРДИНСКИЕ  
РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД  
И ПРЕДИСЛОВИЕ  
Р. ГРИГОРЬЕВА



ПЕТЕРБУРГ  
1919

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“  
при Народном Комиссариате по Просвещению

## ПРЕДИСЛОВИЕ.

---

Если заглянуть в учебник географии или навести справку в словаре, то Италия представится страной на редкость однородного этнографического (национального) состава. Не говоря уже о таких многоплеменных и разноязычных государствах, как Россия и Австрия (теперь уже „бывшая“),—даже Великобритания (без колоний) распадается на три крупные национальные группы, маленькая Бельгия на две и т. д.

Другую картину представляет собою Италия: все ее население—за ничтожнейшим исключением в каких-нибудь три сотых процента—состоит сплошь из итальянцев, из людей одной национальности.

Не мало поражает поэтому путешественников, впервые посещающих Италию, о которой они имеют подобного рода книжное представление,—когда они, вместо „итальянцев“, встречают в этой стране пеструю смесь из ломбардцев, тосканцев, генуэзцев, неаполитанцев, римлян, сицилианцев, пьемонтцев и пр. и пр.



Да не подумает читатель, что эти различия имеют чисто „губернское“ значение и равносильны, например, делениям на псковичей, ярославцев, вологжан и т. п. У нас великоросс одной местности „окает“, а другой „акает“, и эти почти исчерпываются их особенности, которые, во всяком случае, не столь велики, чтобы стирать общенациональные русские черты, чтобы причислять костромича к другому, чуждому, скажем, тверяку, племени.

Не то в Италии: там житель одной области является для его соседа уже „чужестранцем“, ибо он не только говорит на особом, непонятном наречии (диалекте), не только разнится своими нравами и обычаями, — но представляет собой и в чисто физическом отношении другую величину: рост, окраска волос, устройство черепа, все настолько несхоже, настолько разнится в человеческом типе, что становится вполне понятным, почему венецианец видит в калабрийце „форестьера“ (чужестранца).

Но сквозь все эти продольные и перекрещивающиеся деления лингвистического (по языку) и антропологического (по физическому строению) характера проходит одна резкая поперечная черта, проводящая отчетливую грань между севером и югом.

Север и Юг — это в применении к Италии не только географические понятия, это — два различных мира, два особых государства, где

царят глубоко отличающиеся друг от друга отношения. Север—это излюбленный первенец всех, часто сменяющих друг друга правительств, Юг — их вечно гонимый пасынок. Обратно тому, как с Севера на Юг понижается физический рост населения (самые высокие в Италии люди—венецианцы, самые низкие—и при том самые низкие во всей Европе—сарды)—увеличивается его безграмотность, нищета, преступность, обездоленность.

Приведем для примера несколько данных. Известно, что средняя цифра грамотности для Италии очень не велика, хотя еще законом 1877 г. введено „обязательное“ обучение, мудро предусматривающее, однако, в числе „уважительных причин“ для непосещения школ... крайнюю бедность (наряду с болезнью и неудобствами путей сообщения). Но в то время, как северяне дают (при рекрутских наборах) около 20% неграмотных, южане показывают свыше 60%.

Как все нищие и малокультурные страны, Италия необычайно плодovита: в среднем, на брак там приходится 4,7 рождений—больше, чем во всех европейских государствах (за исключением России, дающей 5 рождений на брак). В итоге, население ежегодно увеличивается почти на  $\frac{1}{4}$  миллиона, что при убогом состоянии производительных сил страны приводит к „перенаселению“, вынуждающему массу



народа эмигрировать в поисках заработка. В 1910 году в Америке и других странах числилось около  $5\frac{1}{2}$  миллионов итальянцев, оторвавшихся от родины, чтобы не умереть там с голода. И опять—большинство выходцев дает несчастный Юг, а о степени благосостояния и культурности этих эмигрантов свидетельствуют следующие данные: средняя сумма ввозимых в Америку каждым итальянским эмигрантом денег равняется 19,4 доллара (доллар стоил до войны т. р. 90 к.), причем на северянина приходилось 25,5 доллара, а на южанина 13,3! Безграмотных эмигрантов северян показано 11,5%, южан—52%. И так во всем соблюдается это печальное преимущество больших цифр, если речь идет о самом темном и безотрадном в жизни.

Всевозможные эпидемии и болезни собирают на Юге обильную жатву. Холера, чума, малярия—уносят десятки и сотни тысяч людей, живущих в ужасных гигиенических условиях, голодных, оборванных, полудиких, полных самых чудовищных, средневековых и даже языческих суеверий. Малярия—особый вид болотной лихорадки, лишь, с недавнего времени стала встречать отпор, после того, как на Юге ежегодно умирало от нее около 16 тысяч человек и болела половина населения; теперь принимаются кое-какие меры,—в виде бесплатной раздачи хинина, осушения тлетворных болот (маремм) и т. п.

Ковсемэтим явлениям социально-культурного порядка необходимо прибавить еще и бичи, обрушиваемые природой: нередкие землетрясения уносят десятки тысяч жителей, целые города и области, губят добро и достояние миллионов. И это опять таки привилегия злополучного Юга!

Буржуазное правительство, уклоняющееся огромные богатства на всевозможные колониальные и прочие войны,—конечно, очень дрожит над всякой копейкой, которая могла бы пойти на улучшение невозможного положения Юга,—на народное просвещение, поднятие производительности земледелия и промышленности и т. д. Перед выборами депутаты и министры, правда, рассыпаются в обещаниях, на практике, никогда не осуществляемых.

И темный, безграмотный, убогий и много-страдальный Юг изнуруется в непосильном труде на государство, помещиков, попов, проливает кровь на ледниках Альп и в горячих пустынях Африки, вскармливает в эмигрантской каторге американских миллиардеров и от времени до времени вспыхивает в диких, стихийных бунтах, подавляемых с жестокой беспощадностью полицией короля.

Аристократический Север безразлично отворачивается от своего собрата, как от явления „низшего порядка“, и нужно много любви,



человечности и таланта, чтобы пробудить внимание и интерес к прокаженному Югу.

Грация Деледда, современная итальянская писательница (род. в 1873 г.), все свои незаурядные силы посвятила изображению быта и жизни родной Сардинии, этому типичнейшему явлению Юга.

Сардиния—остров в Средиземном море. Если даже неаполитанец являет собой нечто глубоко отличное от европейца, то тем более своеобразен сард, отрезанный морем от итальянского материка, который кажется ему чем то далеким, странным и чуждым. Язык сардов—оригинальная смесь итальянского языка с испанским и арабским. На материке никто этого наречия не понимает, равно как и не носят такой одежды, отдающей давно прошедшими временами. Большинство населения занимается овцеводством, земледелием, разведением плодов и виноделием. Социально оно подразделяется, —за исключением чиновничества и небольшого слоя крупных собственников,—на обширную группу среднего крестьянства, крепкого, прочного, владеющего изрядным количеством земли, скота и пастбищ, и на массу батраков, полупролетариев, мелких арендаторов-половников.

Культурный уровень почти миллионного населения, — если исключить незначительные „верхи“, — в общем одинаков: богатый крестьянин отличается от бедняка только своим бла-

госостоянием, придающим, правда, его облику больше силы и уверенности, но и тот и другой одинаково темны, невежественны, набожны — той набожностью из суеверия и глупости, которая способна выродиться в жестокое изуверство, — живут по старине, поклоняются одному и тому же Богу в небесах и на земле.

Грация Деледда показывает нам с яркостью и силой жизнь этой преобладающей массы сардинского народа — богатого землевладельца-скотовода и нищего пастуха-батрака.

Природа страны, ее суровый и прекрасный пейзаж, нравы и обычаи, семейные отношения, весь душевный уклад этих людей, их помыслы и чаяния, страсти и вожделения, — встают со страниц рассказов Деледды, врезаются в память, как реальные видения, раскрывают новый, своеобразный мир, в то же время внушая мысль, что перед нами все же такие же люди, как и все прочие, ничуть не хуже, во многом лучше, великодушнее и благороднее других, что все темное в них, злое и низменное вовсе не коренится в их „природе“, не предопределено Господом Богом, а вытекает из тяжелых и жестоких условий их безрадостного бытия.

Убога и печальна жизнь насимного пастуха или полунисшего земледельца, протекающая в безотрадном тяжелом труде, еле обеспечивающем кусок хлеба. Он работает у богача, сте-



режет его обширные стада, видит благосостояние его дома, огромные запасы хлеба, масла и вина. Он завидует хозяину, мечтает о богатстве, голова его полна фантазиями о кладах, неожиданных наследствах. Но вот случайно один такой бедняк, действительно, находит клад,—и он не знает, что с ним сделать, на что употребить, он полон страха, не ест, не спит, пряча от людей сокровище и бессмысленно теряет его („Клад“). Другой слышит сплетню о старухе, которая покупает любовь парней, не задумываясь, отправляется к ней, чтобы продаться, и по дороге назначает сумму, которую он получит, мечтая о том, как он на эти деньги отправится в Америку искать счастья („Шерстяное одеяло“). Душевная тупость, узость кругозора, безграничная темнота и сознание страшной силы денег заставляют сардов смотреть на человека, как на добычу. Наиболее сильные, ловкие, „приспособленные“ преуспевают, другие обречены стать жертвами („Дичь“). Иных борьба за существование или бессознательный протест против окружающего толкает на путь разбоя, бандитизма, третьи спиваются с круга, и в общем все живут в муках и страданиях, все несут тяжелый крест безмерных испытаний, словно повинувшись воле неумолимого рока.

Поэтому такой суровостью, такой болью за человека веет с прекрасных страниц Грании

Деледда, которая запечатлела во всей своей правдивости жизнь сардов,—во многом жизнь миллионов и миллионов трудящихся современного мира.

Горячая кровь рождает на этом далеком, южном острове бурные страсти. Там любят и ненавидят до смерти, нож нередко разрубает узлы человеческих отношений, но они все принимают,—и кровь, и грязь, и преступления, и всю каторгу жизни,—как должное, как веление Бога, на которого уповают с трогательной простотой и наивностью язычников, и их религиозная вера спокойно уживается с самым первобытным суеверием („Заколдованный дом“).

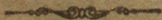
Грация Деледда не рисует своих земляков розовыми красками. Она бесстрастно говорит о них всю правду, как бы горька и безрадостна она ни была. И все же она показывает нам, сколько хорошего и честного таят огрубевшие души этих простых и темных людей. Она подслушала и записала не мало прекрасных поэтических легенд и сказаний, рожденных на острове („Сказка“, „Легенда о Христе“), она и в разбойнике, и в падшей женщине умеет показать человека.

Как женщине, ей особенно удается изображение женских страданий, материнства, чувства любви,—воистину сильной, как смерть, у этих гордых, горячих, как огонь, южанок.



Настоящий сборник рассказов, впервые появляющийся в русском переводе,—лишь небольшой осколок того зеркала, в котором творчески отражен даровитой итальянской писательницей уголок человеческой жизни. У нее есть ряд крупных романов (наиболее замечательные: „Пепел“, „Эллиас Портолу“, „После развода“, „Тоска“), несколько томов рассказов и пьес, вполне заслуживающих внимания русского читателя, которому часы, проведенные над книгами Грации Деледда, скажут многое о человеке и человечестве.

Раф. Григорьев.



## ДОБЫЧА.

После долгих месяцев засухи, вода спала настолько, что мельница священника Максима перестала работать, и с прекращением ее шума, казалось, угасла и вся жизнь вокруг в котловине пустынной долины. В покрасневших каштановых рощах преждевременно опадали листья. Мрачный покой царил на небе, над лесистыми гребнями, где, обычно голубые очертания гор Барбаджии казались теперь мертвенно-бледными, как зимою.

Но в тот вечер небо все покрылось, наконец тучами, и бедняк дон Пеу, брат хозяина мельницы, лежа на поваленном каштановом дереве, которое своим стволом и двумя ветвями образовало подобие креста, ожидал дождя. И лихорадка его ожидания смешивалась с ожиданием, разлитым по всей долине.

Опускалась ночь. Иногда порывы ветра пробегали по лесу, потом снова все замолкало. Блуждающие зарницы,—еще не молнии,—производили на темном горизонте впечатление где-то вдали движущихся зеркал. Дон Пеу подумал о море по ту сторону долины, и ему казалось, что небо отражает и море. Ведь, и оно должно быть теперь бурным: в этом году везде беспорядок и буря, быть может, по случаю появления кометы или далеких землетрясений, как объясняли старые газеты, которые он нашел в мельничной печи и пересчитывал от нечего делать в своем одиночестве. И в его жизни в этом году,—больше



чем когда бы то ни было,—все было—засуха, голод, буря. Но, дремля дни и ночи на стволе каштанового дерева у мельницы, он ждал, что когда-нибудь и его жизнь прояснится.

Ему почудилось, что женщины в красных капиюнах, верхом на лошадках, таких смирных, словно они сделаны из дерева, спускались из деревни. Кое-кто из женщин останавливался возле него, и в то время, как он изыщно помогал им стаскивать мешки, они рассказывали ему новости.

— Я видела вашего брата, отца Максима. Он все еще худ—и не подумаешь, что он хозяин мельницы.

— К чему так много муки, когда постишься?

— Но, мой дорогой дон Пеу, ведь и неприятности заставляют худеть человека.

— У моего брата нет неприятностей,—ответает дон Пеу, вновь обретая перед бабенкой свою дворянскую гордость.

Да, он всегда доставлял неприятности брату. —вплоть до того, что поселился на мельнице, так как у него не было другого убежища. Но он никому не позволял судить о его домашних делах.

Потом сон переменился. Вновь всплыло видение бурного моря, затем почудился корабль, прорезающий черную и густую, как растопленная смола, воду. Страшный грохот прозвучал во круг, смерть сопровождала путешественников. Он вскочил, настолько видение причинило ему боль, и присел, согнувшись, на дереве, с сильно бьющимся сердцем. Да, для него не было иного выхода, и он вспомнил, как прошлой зимой брат, прогнав его из дому, кричал ему:—Ступай в Америку, ступай!

Он дал ему даже денег на поездку. Но дон Пеу мечтал о бурном море и думал, что дворянину непристойно эмигрировать, как землекопу. Таким образом, деньги уплыли, прежде чем он собрался, и не было надежды, что они возвратятся.

Шум, похожий на падение капель на сухие листья, заставил его очнуться. Он поднял глаза и увидел, что и на западе тучи увлекали за собой звезды, но дождь все еще не начинался.

Шум становился все более учащенным: это были шаги человека, подымавшегося от дороги, и скоро высокая, жесткая и цельная, как ствол, фигура остановилась перед ним.

— Диеку, ты уже здесь. А другие? — спросила она, но тотчас же, убедившись в своей ошибке, замолчала, нерешительно оглядываясь по сторонам. Но уже другие шаги зашуршали по сухой листве тропинки, и вскоре показались еще два человека. Все они были закутаны в длинные кафтаны с капюшонами опущенными на лицо, и вооружены.

Дон Пеу тотчас же догадался, что перед ним сборище преступников.

— Вот еще этот здесь, — неуверенно произнес первый из пришедших. Двое отошли немного в сторону и стали о чем-то совещаться.

Дон Пеу сидел неподвижно и молчал. Он не боялся, — ему нечего было терять, — но он хорошо знал, что его ожидало: они потащат его за собой, как тучи подхватывают бурной ночью звезды; они заставят его следовать за ними, насильно сделают его соучастником их предприятия, чтобы он не мог после стать свидетелем против них. Нет, он не боялся, хотя и решил сопротивляться. Только сердце, как это было по-



сле сна, начало биться, словно оно было единственной частью его тела, немного трепетавшей. Но мысли были ясны, воля — непреклонна.

И в то время, как заговорщики вели свою беседу, он думал о брате, и ему казалось, что он видит его, спокойно и сурово сидящим в хорошей комнате с атласными портьерами с раскрытым молитвенником в белых руках. И он показался вдруг самому себе дурным призраком и сказал:

— А что, если я пойду с этими? — и засмеялся, вообразив испуганные глаза брата.

Люди подошли к нему, и первый из них тронул его за плечо.

— Вставай и иди с нами.

Он не поднялся. Но прикосновение руки злодея заставило его содрогнуться. В глубине души он надеялся, что они оставят его в покое, и вдруг словно пропасть разверзлась перед его глазами. Призрак уютной комнаты брата потускнел, но фигура молодого священника оставалась здесь, неподвижно стояла перед ним, глядела на него и, казалось, говорила:

— Ты не пойдешь, Пеу. Пусть лучше тебя убьют.

— Ну, вставай же! — повторил мужчина, и двое других схватили его с обеих сторон за руки, как бы помогая ему подняться.

Но он словно превратился в бронзу.

— Разве вы не видите, кто я? — сказал он, наконец, вновь становясь гордым: — Я дон Пеу Максна, брат священника.

Его слова прозвучали во тьме и ударились о людей, как горох о стенку, — ибо все мы равны перед необходимостью зла.

— Вставай! — повторил в третий раз человек

примирительно и угрожающе в одно и то же время.—Вставай!

Но так как он все не двигался, то двое других начали осыпать его голову и плечи ударами кулаков. Он испустил крик, который растворился в стенании ветра, мчавшегося по долине, и тотчас же почувствовал, как чья-то горячая рука заткнула ему рот. И голос первого из пришедших прозвучал умоляюще:

— Пойдем, дон Пеу это необходимо!

Тогда он поднялся, трясясь, как побитая собака. Ему казалось, что он несет на себе тяжесть, состоящую из разбитой головы, каждая часть которой имела свои особые мысли, но все состояли—из ненависти, унижения и ярости.

Фигура брата все еще следовала за ним.—тоже закутанная, словно принимающая участие в темном деянии.

— Пеу,—говорила она ему,—бросайся на землю, дай себя лучше убить. Ты много штук проделал на своем веку,—играл в карты, пьянствовал, ты был позором семьи. Но этого, нет!—этого ты не должен делать!

Он слушал, но тихо следовал за злоумышленниками и ему казалось, что его, против воли, уведат, как пленника.

Они прошли долину и теперь подымались лесом. Кусты дрожали, благоухая, и ранили своими колючками его руки, словно и они были в засаде, готовые схватить, что им попадется. Наконец, роща кончилась, и они остановились. Дон Пеу узнал это место,—высокое пастбище между скалами, с овчарней богатого скотовода. И тень брата продолжала уговаривать его.

— Пеу, закричи, по крайней мере! Предупре-



ди пастухов о нападении! Может быть, Бог нарочно привел тебя для этого сюда.

— Да, да, — ответил он, продолжая шагать среди товарищей, которые тесно сгрудились и шествовали, словно образуя единое тело: — Да, я закричу, как только мы приблизимся к шалашу.

Но как только они подошли туда, все вокруг казалось пробудившимся от вдруг раздавшегося воя, сопровождаемого грохотом громового удара.

Это был лай медеянского пса, сторожившего овчарню, и шум грозы, которая, казалось, торопилась со скал, чтобы облегчить работу преступников. Дон Пеу был снова подхвачен и увлечен во внутрь шалаша, где пастух и его слуга неистово орали, отбиваясь от нападающих. Дон Пеу отступил, пытаясь тотчас же выйти наружу, но при отблеске света догорающего огня он видел у входа в шалаш группу людей, сбившихся в чудовищный клубок, и не посмел двинуться. Наконец, все казалось успокоившимся: прекратилось тяжелое дыхание пастухов, брошенных связанными с кляпами во рту на землю, и только слышен был запыхавшийся и почти умоляющий голос одного из разбойников, — того, кто просил дона Пеу следовать за ними, — говорившего, склоняясь над побежденными:

— Дай мне деньги. Я знаю, что ты их сегодня получишь. Где они? Здесь, под мышкой? Будь спокоен, — я не сделаю тебе зла. Будь решителен, христианин. Не выводи из терпения мою душу.

Между тем, дон Пеу, увидя открытой дверь хижины, приблизился к ней, не решаясь, однако, выйти, словно он боялся дождя, лившего снаружи. Блеск молнии освещал порою шалаш, внутри которого три бандита обыскивали постра-

давших, и те, с волосами на вздутом, сверкающем от пота лице, корчились и ударили ногами о рассеянный пепел, пытаясь еще защищаться.

Раздался голос одного из воров:

— Вот, я нашел,—и другие тоже поднялись, оправляя свои капюшоны.

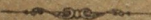
— Он нашел, — подумал дон Пеу,—сколько там? Какова может быть моя доля?

Но тотчас же, словно подтолкнутый могучей рукой, он выскочил вон и пустился бежать под дождем. И он чувствовал, что таинственная рука все толкает его, помогает ему. Он удирал теперь уже не от страха перед преступниками, которые не тронули бы его теперь, после удачи, а бежал от самого себя, от искушения взять свою часть добычи. Еще несколько шагов,—и вот он уже в лесу. Но при свете молнии он увидел пастуха, который, обеспокоенный воем пса, спешил на помощь соседям. И дон Пеу упал, словно его с необычайной силой ударили по плечам,—в промежутке между треском и фиолетовым огнем ружейного выстрела.

Его нашли у мельницы, крестообразно распростертым на стволе каштана, где он обычно проводил свое время. Преступники унесли его туда в надежде, что он только ранен, но едва они прибыли на место, как он умер. Казалось, что он спит после долгого пробега, обескровленный, усталый, в платье, политом кровью и дождем. Занималась заря, и сеть серебра и жемчуга покрывала каштаны, еще тяжелые от влаги. Вогнутые листья низкой ольхи вокруг мертвого были наполнены водой, словно маленькие руки,



протянутые, чтобы собрать и сохранить немного дождя после столь продолжительной жажды. И в руке дона Пеу были тоже зажаты кредитные билеты и монеты, — причитающаяся ему часть добычи, которую злодеи по совести решили оставить своему соучастнику, хотя и мертвому.



## ШЕРСТЯНОЕ ОДЕЯЛО.

Пошел слух,—неизвестно откуда, как и все слухи,—что эта старая женщина дарила деньги парням.

Об этом шла речь в один осенний вечер в придорожной сторожке в Санта-Марга, отстоящей на восемь километров \*) от того места, где обитала женщина. Эти слухи приходили туда и оттуда распространялись,—подобно мышам, путешествующим на судах,—на телегах крестьян, перевозивших уголь и кору каменного дуба к морю,—на дилижансах и на лошадях путешественников.

Жена сторожа держала нечто вроде кабачка, и все путешественники останавливались здесь и играли в карты.

И теперь двое мужчин сидели за этим занятием, разговаривая о той старой женщине, которая давала деньги парням.

— Но, если она дает, значит, у нее они имеются. И если дает, то или займы или как милостыню,—заметила кума Марга (так все звали жену сторожа, хотя ее настоящее имя было другое):—Если бы у меня были деньги, я бы тоже давала их молодым, а не старым. Ведь, если старики нуждаются еще в помощи, это значит, что они никуда не годились. Помогать надо молодым.

---

\*) Километр немного меньше версты: 16 кил. равняется 15 верстам.



Мужчины засмеялись, глядя в карты. Эта кума Марга, свернувшаяся в клубок в углу у двери, со своим разорванным платьем черного цвета, которое время и грязь превратили почти в первобытное состояние сырой шерсти, — была еще совсем невинной овечкой: она ничего не понимала в людях и свете.

— Ладно, кума Марга, но тогда вы, старуха, помогите мне, молодому. Дайте мне, по крайней мере, шестьдесят скуди\*), и я поеду в Америку устраивать свое счастье. Ну, двигайтесь, доставьте же шестьдесят скуди.

Но толчок коленом под столом, со стороны его товарища, заставил игрока поднять глаза, и в противоположном углу комнатки он увидел растянувшегося на белеющей рогоже сына сторожа и кумы Марги—в старых синих штанах и в шапке с козырьком.

Он спал, сын кумы Марги,—хотя вечер едва наступил,—как спал всегда, даже днем, если только не должен был помогать отцу. Он спал,—но это был парень, который и во сне не позволял бы оскорбить ни себя, ни любого из самых дальних своих родственников.

Тем временем игроки закончили свою партию и продолжали разговаривать между собой, остерегаясь, однако, отпускать лукавые намеки по адресу кумы Марги, которая, в свою очередь, задремала и встряхнулась только для того, чтобы получить деньги от посетителей. После их ухода, она положила эти деньги в горшочек, стоявший на колпаке камина.

Черные кристаллы глаз ее сына тогда при-

---

\*) Скудо—монета в 5 лир (лира, по курсу до военного времени, равнялась 37½ коп.).

открылись, сверкнув, и сейчас же снова закрылись в тени угла. Он приподнял и опять опустил голову, бормоча словно сквозь сон:

— Пора бы прекратить эту историю.

Мать не обратила на это никакого внимания, привыкнув к его сонному бормотанию. Она оставила дверь полуприкрытой и пошла укладываться в смежной комнате рядом с мужем, который спал и так храпел, что даже по храпу можно было догадаться, что добряк порядочно за день устал.

Сын вновь приоткрыл глаза и скрестил на груди руки. Он был один. Смотрел на головню, гаснущую в камине среди мрака черной комнаты, с углями, опадавшими, как лепестки увядającego красного цветка. Сквозь дверную щель он чувствовал струю ночного воздуха, смешанный запах конюшни и свежей травы, близкое сопение быков и дальний рокот воды.

Сквозь дремоту он слышал все разговоры игроков, и теперь пережевывал эту болтовню, подобно тому, как снаружи быки жевали зелень во мраке под навесом, хотя сон все еще баюкал его голосом далекой воды в эту нежную осеннюю ночь. Ему чудилось еще медлительная и горячая речь молодого игрока.

— Мне это рассказывал тот парень из Соргоно, который вместе с другими каменщиками строил дом для этой женщины. Она замужем уже второй раз. Первый муж ее был богат и стар, а она молода и бедна. Он был скуп и ревнив, как пес, держал ее взаперти и морил голодом в течение двадцати лет. Когда же он умер, она, почти уже старуха, вышла замуж за молодого бедняка, но ей не хватало этого парня, и она начала сбазаводиться другими друзьями. Муж



колотил ее за это, а она что сделала? Прогнала его из дому, но так как он не переставал надоедать и угрожать, то она оставила родину и приехала сюда к нам, открыла мануфактурную лавку и стала строить дом. Ну, а принявшись за эту постройку, она прошлым летом каждый день ходила приглядывать за работой. Она смотрела на стены, но смотрела и на каменщиков, которые помоложе, и они все попадали к ней, одни за другим, со своих лесов, как плоды с дерева. Злые языки говорят, что дом стоил ей не мало золота. Но лучше всего то, что чем старше она становится, тем все больше хочет молодых,— будь она не ладна! Теперь она живет в новом доме с железным балконом, украшенным позолоченными плодами, а ее лавка, выходящая на площадь, похожа на магазины больших городов, и снару́жи написано ее имя—Онофриа Дау—на дощечке так же, как на распятии Христа.

Он внезапно вскочил, зажег свет и заглянул внутрь горшочка, стоявшего на камине, накренив его настолько, чтобы разглядеть дно и, нюхая деньги, словно это была пища. И, действительно, медяки казались вареными, а редкие серебряные монеты—свежими бобами.

Он постоял так немного, неподвижный и нерешительный, пересчитывая глазами деньги. Потом, словно вытаскивая горшочек из огня, он взял его за ручки, раскрыл ногою дверь, дошел так до луга и, согнув колени, высыпал монеты в платок, который он вынул из кармана, крепко обмотал и завязал кончики платка, и затем пошел дальше.

Он держал в руках этот сверток, твердый и

тяжелый, как железный шар, и шагал прямо по дороге между темными лугами, под золотыми звездами Большой Медведицы. Село лежало по ту сторону долины, и ему казалось, что он видит на черном, воздушном, обрызганном звездами, горизонте, крест с надписью на дощечке: Онофриа Дау.

Шум воды вдали, фыканье коней на пастбище, запах зелени, влажной от ночи, сопровождали его.

— Если это так, то так,—думал он,—теперь половина девятого и, при моей ходьбе, в десять я буду на месте. Я возьму у нее двадцать скуди—о, нет! ни на грош меньше,—и оттуда направлюсь прямо в порт, чтобы сесть на пароход. Уеду куда-нибудь, далеко—на Корсику или в Америку,—но здесь я не хочу больше оставаться. Не хочу я быть сторожем, торчать целый день, разбрасывая щебень по дороге и меняя лошадей для нарочных,—изволь всегда быть там, как осел у мельничного жернова! Пусть торчит мой отец, если хочет, а я не хочу. А ежели дело не удастся, я вернусь и положу деньги обратно. Иди же в добрый час, Гиспарру Лоддо. Шагай! Шагай!..

И он шагал, строя хорошие планы и даже чувствовал себя весело, перебрасывая из руки в руку, как апельсин, свой сверток. Если ничего не выйдет, он не тронет ни копейки: все монеты вновь будут на месте по его возвращении через три часа. Но, если дело выгорит, он едза прибыв в ту неизвестную страну, куда отправится, сейчас же напишет матери, прося у ней прощения, и пошлет ей первые заработанные деньги.

В глубине души он вполне понимал то, что



делал, и знал причину, толкавшую его на такой поступок: он отлично сознавал, что он лентяй, и что его отец ничего от него не ждет, и поэтому пытался оправдаться перед самим собой.

— Ты лентяй и именно поэтому должен переменить свою жизнь и отправиться туда, где есть подходящая работа для тебя, Гиспарру Лоддо. Шагай же...

И он шел вперед. Заблудиться нельзя было, шаг за шагом приближался он к своей цели, как жизнь шаг за шагом ведет к смерти. По мере того, как он подвигался, он все яснее различал на темном горизонте мрачно-черные скалистые холмы над селом, и ему казалось даже, что он различает в глубине дороги дом женщины, окруженный балконом. Но чем больше он приближался к нему, тем сильнее начинал сомневаться в счастливом исходе своего предприятия. Он стал думать о женщине, которой не знал, представляя ее себе низенькой, плотной, жирной, с большой грудью, свисающей на живот через шнурки корсета, с глазами несколько суровыми, с небольшими усиками над толстой, выпяченной губой,—словом, пожилой, состоятельной женщиной, каких он знал много, каких видел в последнее воскресенье сентября на празднике св. Ильи, которые любят еще развлекаться, хотя и не показывают вида, и, в конце концов, не очень противны мужчинам. Ему они, по крайней мере, не были неприятны, вернее сказать, не были ни неприятны, ни приятны, ибо, все женщины, если хорошенько подумать,—красивые и некрасивые, молодые и старые,—для него одинаковы.

Он вошел в опустевшее село. В глубокой тишине лаяла собака. В маленьком подвальном

окошке сиял свет. Он заглянул внутрь, проходя мимо, и увидел больную женщину на деревянной кровати и бодрствовавшую рядом девочку.

Неизвестно почему, его мысли вдруг переменили направление. Возобновив путь, он почувствовал себя несколько растерянным, словно после небольшого света, к которому он прильнул на минуту, туман впереди него еще более сгустился.

От времени до времени кой-где сквозь окна и двери показывался свет, проясняя перед ним дорогу, вплоть до того места, где она расширялась в площадь. Наконец, придя в самую ее глубь, он ясно различил дом Онофрии Дау. Дом стоял перед ним, в углублении между холмами, сероватый, с ожерельем позолоченных плодов балкона, закрытый, молчаливый и непоколебимый, как действительность.

И он почувствовал, как беспокойно забилося у него сердце. Ему казалось, что он приплыл против течения к истоку реки, и стоял, сильный и уверенный, но течение с яростью набрасывалось на него, и в глубине сердце его прожало от страха.

Он перешел через площадь и постучал в дверь Онофрии Дау, пониже дощечки с надписью. Из речей прохожих он знал, что женщина, для своего удобства, не держала даже прислуги. Поэтому он был убежден, что это именно она высунулась из балкона, спрашивая, кто он и чего ему надо.

— Я — Гиспарру Лоддо, сын сторожа в Санта-Марга. Откройте, я хочу купить шерстяное одеяло, так как моя мать заболела воспалением легких.

Ему захотелось рассмеяться от этой неожидан-



данной ребячьей выдумки, но он стал серьезным, увидев, как фигура скрылась и услышав вскоре шаги внутри дома.

— Она, должно быть, не одна,—подумал он; —а то не открыла бы так скоро. Ведь я же мог бы ее убить. Убить и ограбить, как была убита и ограблена прошлой ночью невестка доктора Лечис.

Он вновь почувствовал, как забилося его сердце и склубились в комок жестокие мысли в его уме; и легкий пот увлажнил его ладони. Но едва открылась дверь и показалась высокая и красивая женщина с белым и сияющим лицом Мадонны, окруженным черным ореолом повязки, с миндалевидными синими глазами, отражавшими свет лампы, которую она держала в руках,—как он почувствовал, что вместе с тенью от него сбежал ужас зла, и он тотчас убедился, что не смог бы ни убить, ни продать. Он не посмел даже спросить женщину, не Онофриа ли она Дау. Он заметил только, что пол в прихожей был бел и светел, как и ее лицо, и тщательно вычистил ноги у порога, чтобы не занести внутрь дома даже пыли пройденного пути.

Женщина шла, ничего не говоря, и когда они очутились у входа в лавку, находившуюся у подножия лестницы в глубине коридора, она протянула лампу Гиспарру.

— Я не беру ее с собой, так как не трудно наделать пожар. Будь добр, подожди здесь,—и вынесу тебе одеяло.

Он остался со светом в одной руке и спертком в другой. Из двери, оставленной хозяйкой открытой, доносился запах свежего полотна и ароматного мыла. Он увидел, как она ловко вскочила на стул и вытащила из шкафа синий

пакет  
мь  
пол  
ка л  
восп  
жар  
лезн  
убей  
дол  
восп  
Ж  
шир  
глаз  
он. К  
белы  
что  
прав  
—  
шерс  
О  
лам  
извес  
мог  
Е  
жали  
—  
—  
так к  
двад  
верну  
По  
Она  
бумаг

пакет. Потом она сошла, развернула его на скамье и вынесла на руках желтоватое в красных полосках одеяло.

— Посмотри, подходит ли оно тебе. Поставь лампу на лестнице. Как же это она схватила воспаление легких, твоя мать? Ведь, теперь жарко?

— Ну, обыкновенно, как схватывают все болезни,—сказал он серьезно, разглядывая одеяло, убежденный, что мать, лежа больная в постели, должна хорошенько пропотеть, чтобы прогнать воспаление.

Женщина развернула одеяло во всю его ширь, чтобы показать, как следует, и смотрела в глаза покупателю, чтобы увидеть, доволен ли он. И ему показалось, что она улыбается своими белыми и крепкими зубами между красных губ, что она глядит на него и усмехается, чтобы понравиться ему.

— Тронь его, взвесь, ведь, это наилучшая шерсть. Поставь-ка вниз свет.

Он поставил на третью ступеньку лестницы лампу и сверток и взял с одного края одеяло, взвесил его на руке и, наконец, молчаливо, помог сложить его.

Его тень и тень женщины чудовищно раздражали им на потолке.

— Ну, что,—ладно?

— Идет. Сколько стоит?

— Оно стоит двадцать две лиры, но для тебя, так как речь идет о таком случае, я уступаю за двадцать. А доктора вы позвали? Теперь я заверну тебе одеяло.

Последние слова доносились уже из лавки. Она положила одеяло на большой синий лист бумаги и проворно заделывала пакет. Мужчина



поднял свой сверток. Когда он нагнулся, ему показалось, что вся кровь бросилась ему в голову. К первоначальному ошеломлению присоединилась мрачная ярость. Он не хотел, чтобы с ним сыграли такую штуку, не хотел потерять таким идиотским образом деньги, копейка за копейкой заработанные его матерью. Он обещал самому себе не растрачивать их, и он их, черт побери, не истратит. Потом на него нашла печаль: он почувствовал себя обманутым судьбой; женщиной, которая вовсе не была стара и не покупала мужчин, а, наоборот, продавала им свою улыбку,—обманутым людьми, которые ее оклеветали. Он был охвачен желанием наброситься на нее, схватить или, по крайней мере, ударить своим свертком. Но как только он вошел в лавку, то увидел мужчину, вероятно, слугу, расположившегося вдоль стены между скамьей и входом. Гиспарру тотчас же удалился, отступая, как вор. Ярость выкипела у него перед страхом. Он хотел бы, по крайней мере, удрать, спасти свои деньги, но стыд, в свою очередь, победил страх. Женщина снова очутилась перед ним и протягивала синий пакет.

Тогда он попытался защитить хоть то, на что имел право—и даже больше,—если сможет.

— Отдай мне одеяло за двенадцать лир, оно не стоит больше. (Он тотчас же раскаялся, что не сказал десять).

Она, внезапно постарев, разгневанно посмотрела на него.

— Ты с ума спятил, мой сын! Одеяло, которое мне стоит двадцать лир, отдать тебе за двенадцать?

Он пристально вблизи взглянул ей в лицо. Между ними были только их свертки. Да, она

была стара. И тогда он попытался улыбаться ей, прельщать глазами, и сразу все дурные помыслы вернулись ему на ум.

— Если можешь, Онофрия Дау, хорошо, если нет—терпение! Я извиняюсь, что беспокоил тебя в такое время... но мне сказали... мне сказали...

Он пристально смотрел ей в зрачки, желая внушить взглядом свои мысли. У него не было больше ни стыда, ни страха перед женщиной, находившимся внутри: ему нужно было только, чтобы Онофрия поняла его.

Но Онофрия не понимала или не хотела понять. Она понимала лишь, что должна была продать одеяло и получить хороший заработок. Задумчиво наклонив немного голову и прикоснувшись щекой к свертку, она попыталась, но уже без надежды, в последний раз заманчиво взглянуть на покупателя.

— Дай мне, по крайней мере, шестнадцать лир. Поверь, я скидываю четыре лиры, но так как ты пришел в такой поздний час для больной матери... Бери же и ступай.

— Не могу,—сказал он, отодвигаясь, и ему казалось, что он уже спас свой сверток. Но она следовала за ним с пакетом и насильно совала его ему в руки.

— Ну, ладно, бери за твою цену, так как это для больной матери...

Ему захотелось кричать, и он не сделал этого только из страха перед женщиной в доме. Но, в конце концов, он, ведь, не вышвырнул деньги своей матери зря: шерстяное одеяло все-гла останется шерстяным одеялом...



Он наклонился к белому полу, как прежде наклонялся к темной зелени луга, развязал сверток и, отобрал серебряные монеты: их было ровно двенадцать лир. Он сердито протянул их на ладони руки женщине, не глядя на нее. Она тоже опустила на пол свой пакет, пересчитывая деньги, в то время как он вновь завязывая свой платок.

И  
ме  
годо  
врат  
прив  
да п  
Э  
шнни  
сосу  
ке, в  
горн  
В  
диль  
межд  
прох  
вост  
С  
ни в  
сколи  
залия  
шнне  
тисть  
стоят  
лодн  
влять  
По

2)  
Энхора

где на-  
сверток  
ровно  
на да-  
на тоже  
я день-  
ая свой

## ДИЧЬ.

Разалия никого не ждала, но при всяком шуме шагов она подымала свою продолговатую головку, покрытую платком черного цвета, превратившегося уже в зеленоватый, и скорее по привычке, чем из желания причинить зло, ругала прохожих.

Это были большей частью женщины с кувшинами на головах и мальчики с пробковыми сосудами за плечами, спускавшиеся вниз к речке, в глубь долины, или подымавшиеся вверх к горным источникам в поисках воды.

В этом году засухи нужно было далеко ходить за водой, и тропинка за избушкой Разалии, между кладбищем и подошвой горы, где обычно проходили лишь пастухи да охотники, теперь, после апреля, оживилась, как большая дорога.

Со своего места, под группой деревьев, в тени которых она ютилась из-за свежести, несколько понижавшей жар ее малярии \*), — Разалия видела в голубой дали дороги проходившие черные фигуры старух и девушек в золотистых кофточках. Среди них были также и состоятельные женщины, имевшие у себя дома колоды и цистерны, а теперь вынужденные отправляться по воду.

Порою какой-нибудь мальчишка высовывался

\*) Сильно свирепствующая в некоторых местах Италии малярия.



из-за изгороди и швырял камень в кусты в надежде заставить выползти ужа или, по крайней мере, потревожить ящерицу. Но, увидя зеленатую голову Разалии, напоминавшую своим узким лицом и сверкающими косыми глазами ящерицу,—мальчик удирал, ругаясь во всю, как и она.

В этот день, хотя это был конец мая, но безнадёжное спокойствие неба уже предвещало ужасающее лето жажды, голода и лихорадки,—тропинка была оживлена более, чем когда-либо: все отправлялись к отдаленным источникам, ибо все сельские колоды совершенно высохли.

Разалия, страдавшая лихорадкой, напрасно простирала свои пылающие руки к желтоватой зелени, чтобы немного их охладить. Она не могла лежать, так как кровь приливала ей к голове и даже когда она сидела с согнутыми ногами и охватив руками колени, ей все же казалось, что перед ней все вертелось, и что фигуры на краю дороги, пляшут, звачащенные между небом и землей. Много народу проходило мимо нее, представляя ей не мало возможности для проклятий. Вот даже слуга священника отправляется к горному фонтану верхом на лошади, нагруженной кувшинами; даже мать синдика, Маттия Селес, длинная и черная, с амфорой на голове, словно скользящей по небу, идет черпать воду в фонтане долины.

— Пусть же все они помрут от жажды, пусть внутренности их высохнут, как сохнет теперь глина в колодцах. Пусть полохнут все—богатые и бедные, старые и юные, все, все, что смеялись над ней; что изгнали ее, как прокаженную от здоровых людей; что трубили в трубы и стуча-

ли о  
будут

Т  
на ко  
она с  
ней  
правл  
плач  
ковой  
так к  
камни  
ноги,

это—  
даже

ры?—  
бе п  
Ты а  
же з  
конц  
гиды  
Но, е  
в ко  
Госп  
отпа,  
ла я,  
Заче  
крас  
чтоби  
ни п  
разв  
дику  
прис  
сним  
натр

ли о жести под ее окном в ночь ее свадьбы,—да будут все они прокляты!

Так проклинала она, а потом, опустив голову на колени, заплакала, и в глубине своей совести она спорила с Богом, как будто Он стоял перед ней возле изгороли, словно старый сиуга, отпавлявшийся за водой, — с белой бородой, в плапченке, оттянутой назад веревкой от бамбуковой посуды, привязанной к шее. Она спорила, так как ей казалось, что это Бог швыряет в нее камнями, которые попадают ей в темя, в бока, в ноги, и при каждом ударе приговаривает:

— Это тебе за ругань, это — за проклятия, это—чтобы ты помнила, что нужно быть доброй даже когда страдаешь.

— Быть доброй, быть доброй! А другие добры?—отвечала она, возмущаясь и подавляя в себе проклятие против самого Бога:—Почему же Ты этого не говоришь другим? Ведь, другие тоже злы и все же счастливы. А я,—что же я, в конце концов, сделала? Я вышла замуж за могильщика, который старше меня на сорок лет. Но, если я вышла за него замуж, это мое дело, и, в конце концов, что я должна была, скажи мне, Господи, сделать? У меня никого не было — ни отца, ни матери, ни братьев, даже врагов не имела я, даже прислужой меня никто не хотел брать! Зачем ты заставил меня родиться бедной и некрасивой? Ведь, у меня не было даже сумы, чтобы пойти побираться, даже обуви я не имела, ни шнурков от обуви. А когда я стала взрослой, разве я не отправилась к священнику и к синдику Маттна Сенес, чтобы они дали мне место прислуги? И они ответили мне:—Ступай и прежде сними с лица своего струпы! А Маттна Сенес натравил на меня своего пса, злого, как вол-



У меня еще до сих пор волосы встают дыбом при воспоминании об этом. Мне было четырнадцать лет, и я не могла даже пойти в церковь, так как не имела ни обуви, ни платья. И я отправилась молиться в кладбищенскую церковь — среди мертвых, ибо живые не хотели меня знать. Там увидел меня дядя Антонио и спросил, не хочу ли я пойти за него замуж. И я пошла за него, и что же? Все смеялись надо мной, да, — но никто не протянул руки помощи, а мальчишки швыряли в нас камнями и ночью трубили в трубы. — Подождите и вам тоже затрубят трубы в день страшного суда! Да, Господи, преследования были так жестоки, что муж мой плакал при погребении каждого мертвеца, словно это был его сын или внук. Наконец, он сказал мне: — Разалия, я отправлюсь в Америку, все, ведь, отправляются туда, — тем более, что нет работы. Я поеду туда, дочь моя, туда, в Америку, где говорят, чума и много мертвых, авось, удастся что-нибудь заработать. — Ты знаешь, о, Боже, что я тоже хотела поехать с ним, и вправду отправилась с ним в порт, но он хотел и не хотел брать меня с собой. И я вернулась обратно, пешком, шла долго, пока кровь не показалась на ногах, и пришла назад, как всегда возвращаются домой собаки и кошки. Я ничего больше не слышала о муже, — ведь, он не умел писать. Уже прошло пять лет, быть может, он умер уже, и кто-нибудь похоронил его. Я пошла к знахарке, чтобы она сказала мне, жив он или умер, или живет с другой женщиной, но знахарка хотела скудо, а где же я возьму скудо, мой Боже? Скажи мне, где я возьму скудо, когда кругом голод, когда даже синдик Маттиа Сенес отправляется на охоту, чтобы затем продавать на ма-

тери  
нати  
кам  
елат  
их

Б  
того  
поло  
из  
ни  
он,  
пере  
к ж  
серд  
и в  
ночт  
с не  
хват  
гани  
тил  
стом  
глаз  
густ  
его  
ному

зал

до с  
рый  
о см  
Н  
Два  
рза

терике куропатки? Как же могу я не проклинать после этого? Вот он идет, Маттиа Сенес, каменная рожа, будь он проклят, и все те, кто едят его куропатки, и даже собаки, гложущие их кости!

Высокая фигура еще молодого человека, одетого в бумазю, наполовину крестьянского, наполовину охотничьего вида, подымалась вверх из села. При нем не было, однако, ни ружья, ни собаки, и, подойдя к разветвлению дорожки, он, вместо того, чтобы продолжать путь в гору, перескочил через изгородь и приблизился прямо к женщине. Она поднялась с сильно бьющимся сердцем. Ей нечего было ни терять, ни бояться, и все же необычное посещение проникало ее почти чувством ужаса. Когда же он сел рядом с ней, на зелени, скрестив ноги и по-детски обхватив их своими большими руками, — она испуганно взглянула на него. Но он ничего не ответил на этот взгляд. На его черноватом шетинистом лице сверкали красивые, ясные, твердые глаза, они были заслонены, как озера скалами, густыми ресницами и упрямым лбом. Взгляд его был направлен к белеющему селу, окрашенному закатом.

— Я принес тебе вести о твоём муже, — сказал он, — дурные вести.

— Он умер?

— Умер.

Она опустила голову, но не заплакала. Ей было стыдно плакать перед этим человеком, который сообщил ей известие так, словно речь шла о смерти скотины.

Но все же он казался чем-то озабоченным. Два раза он поворачивался к ней лицом и два раза отворачивался, как будто не мог, не в си-



лах был смотреть на нее. Наконец, собравшись с духом и убедившись, что никто в этот момент не проходит мимо и не может подслушать его, он взглянул на нее прищуренными глазами, полными кошачьей прелести.

— Письмо пришло ко мне, синдику, только сегодня, но оно долго было в пути. Твой муж умер прошлой зимой и, кажется, оставил кусок земли. Что хочешь сделать с ним? Продать?

Она между тем успокоилась и сейчас же подумала, что Маттиа Сенес способен надуть ее. Но, с другой стороны, ведь он синдик: кому же довериться, если не синдику?

— Сколько она стоит, эта земля? Тридцать скуди?

Мужчина улыбнулся.

— О, гораздо, гораздо больше! Не могу сказать тебе точно: ведь в Америке это имеет одну цену, здесь — другую.

Она подумала, избегая его взгляда, что он, несмотря на все, внушал ей чувство сладострастия. Должна ли она была плакать от сообщенной вести? Если прошло столько месяцев со дня смерти мужа, то было бесполезно плакать, и, затем, разве она не оплакала уже его, годами считая мертвым.

Мужчина вновь заговорил торжественным голосом:

— Разалия, теперь для тебя наступило время оставить жизнь здесь, между зеленью и камнями, как гадюка. Ты теперь женщина: я посмотрел в списки, тебе девятнадцать лет. Надо образумиться!

Он хлопнул ее рукой по спине, чтобы вывести из оцепенения, в которое она впала. Она встрепенулась и, подобно дереву, тронутому

дождем, наконец, заплакала. Она не знала, почему плачет: может быть, это были слезы радости от денег.

Он дал ей хорошенько выплакаться, так что промокли даже кончики ее платка, окрасившего ее лоб в зеленый цвет, а потом сказал:

— Итак, пора образумиться! Необходимо, прежде всего, одеться в черное. Попозже мы пойдем в дом моей матери и она даст тебе немного вдовьего добра. А потом я советую тебе ни с кем не говорить об этом деле,—так лучше для тебя. Никто, ведь, не ходит в твой дом.

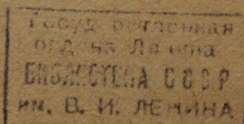
— Кто может ко мне ходить? Даже собаки... Я всегда торчу здесь, снаружки, так как крыша грозит обвалиться.

— Все же,—сказал он, все более задумываясь,—все же необходимо, чтобы ты теперь жила в доме, как подобает вдове. Ты можешь жить у меня. Люди ничего не скажут,—заметил он, словно говоря с самим собой, но сейчас же горделиво потряхнул головой,—а если и скажут—пусть говорят! Теперь такие времена, что каждый отягчает за самого себя. Но если тебя это затрудняет,—решительно заключил он,—я могу сейчас предложить тебе одну вещь: я женюсь на тебе.

Она повернулась и снова испуганно взглянула на него.

— Стало быть денег так много, будь ты прожлат?

Но он уже повеселел от сделанного шага и улыбаясь с облегчением. Ему казалось, что он подстрелил крупную куропатку и держит ее, еще горячую и окровавленную, в руках. К чему ждать захода солнца, чтобы вернуться домой с добычей? Он поднялся, взял ее за руку и повел позади себя по ближайшей пустынной дороге.





Он все время держал ее за руку из страха, чтобы она не убежала.

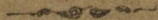
Но она и не думала удирать, — она думала только о деньгах и шла, спотыкаясь, и ей казалось, что все происходящее — результат ее лихорадочного жара.

— Сколько их может быть? Не тридцать скуди, а много, много больше. Быть может, сто скуди? Тогда я могу иметь три пары ботинок, одни лучше других. Может быть, триста скуди или семь тысяч скуди?.. Ее мозг растерялся, думая так много. Перед перковью мужчина остановил ее, сказав, чтобы она пошла впереди него: казалось, что он стыдился быть рядом с ней. И она следовала впереди, лишь на минутку останавливаясь перед каменным крестом на лужайке у церкви, чтобы осенить себя знаменiem:

— Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вот Ты и вспомни обо мне, Господи!

И она опять стала беседовать с Богом.

Когда они подошли к дому Сенес, и Маттиа толкнул ногой ворота, залаял пес, и она вспомнила натравленную на нее в тот раз собаку и тотчас же подумала, что первым делом она отправит это животное. Она шла, продолжая по привычке изрыгать свои проклятия.



## КЛАД

В том году крестьянин Джан Гавино Аливезу сеял вблизи моря, у развалин одной церкви. Почва была твердая, трудно поддавалась обработке и, хотя Джан Гавино она досталась почти даром,—он рассказывался, что взял ее. Каждый раз, в жаркие еще осенние полудни, пропотев не мало времени над корчеванием толстого корня мастикового дерева или над удалением камней,—он подымался, держа руку на спине, и глядел на зеленую линию моря, думая, что, в конце концов, жизнь отшельников—наилучшая жизнь.

Согласно легенде, один из них умер здесь, среди развалин, прожив сто семь лет, и никто даже не видел, как он умер. И Джан Гавино, простой сердцем юноша, нередко уменьшал размах своей мотыки из страха найти и потревожить кости святого.

— Да,—думал он, вновь сгибаясь над мотыкой,—жизнь отшельника лучше всякой другой. Что делают отшельники? Ровно ничего. Едят, что находят,—как птицы,—спят и непадают в грех. Мир на земле и на том свете... Правда, и богачи тоже, например, ничего не делают. Но зато грехи!.. Если это люди с добрым сердцем, богобоязненные, то они тоже кончают тем, что ищут одиночества и бедности, как, например, его тезка, старый адвокат дон Гавино Аливезу, который, много учившись потратив деньги, повидав далекие страны, живет теперь одиноким, никогда не выходя из дому,—вон его дом там



белеет на горизонте, высокий, как колокольня, над ломаной линией сельских избышек.

Чтобы лучше разглядеть, маленький крестьянин подымается еще выше по камням и сожженным корням деревьев, держа руку на спине. — Его работа порядочно тяжела, но, в конце концов, разве не Бог приказывал работать?

Тем временем солнце исчезло между красными облаками над краем берега, уже обвешанного сонной печалью, и Джар Гавино подумал, что хорошо бы ему и отдохнуть. Он не спешил, богатым он не хотел стать — к чему богатство? Чтобы жениться? Но женщины его не любили — такого простеца, некрасивого и сироту, каким он был. Богатым они желали бы его ради денег, а не из-за любви, и ввели бы в трех. А кроме того, женщины любят швырять деньгами, и легенда говорит, что даже отшельник удрал из Испании и поселился на этом пустынном берегу из-за женщины. Точно также, и дону Гавино Адивезу, хотя он и адвокат, попадало, говорят, от женщин, и он загорелся такой ненавистью к ним, что, поселившись в своей крепости, не хотел видеть их даже нарисованными: он принимал только мужчин, которые приходили к нему за советами. Сначала речь шла об их тяжбах и судебных делах; затем его, от времени до времени, просили мирным путем уладить тот или иной спор и, наконец, со временем он стал советником села и все обращались к нему, как божьему человеку, стоящему выше людской лжи, уверенные в его правдивости и, больше всего, в том, что он сумеет сохранить тайну и дать нужный совет. Женщины, которых он не принимал, посылали к нему мужей, и энахарка, та-

ким образом, потеряла почти всех своих посетителей.

Джан Гавино не знал своего тезку в лицо, и него еще никогда не было надобности в советах, а когда он нуждался в какой-нибудь малости, то обращался, обыкновенно, к Богу. Да и вообще за последнее время очень мало как-то говорилось о доне Гавино Аливезу, и если Джан Гавино вспомнил об одиноком адвокате, то только потому, что его фантазия рисовала ему дону Гавино сидящим рядом с отшельником на берегу моря, между скалами, о которые ударяются волны, чайки и морские орлы. Взглянув еще раз на море, он вытащил из жесткой почвы мотыку и увидел, что вместе с комьями земли на поверхность выкатилось нечто, похожее на крупное, расплющенное желтоватого цвета зерно. Он поднял его, положил на ладонь и почувствовал, что колени его стали дрожать и сгибаться, словно от сильного удара по спине. Да, это была золотая монета! Все заколебалось вокруг него: море качнулось по направлению к селу, село — к морю. И в этом хаосе, он, стоя на коленях, всерьез, рыл руками и мотыкой землю, доставая из нее монеты, вновь и вновь появлявшиеся наружу, как из тайного источника. Он набил себе ими карманы, наложил за пазуху; затем, расположив их у края ямы, продолжал копать — запыхавшийся, дикий. О, нет, теперь он не чувствовал тяжести! Он охотно продел бы так всю свою жизнь, согнувшись в полумраке, весь в поту, который лил с него ручьями по щекам и падал, проликая до самого чрева земли.

Но на известной глубине наружу стали вылетать попрежнему одни лишь черепки черноватой глины, превращавшиеся от прикосновения в



нись. Но он все еще искал, искал, погрузив руку, насколько мог, в яму, лежа грудью на земле с трагическим лицом, обращенным к западу. Когда же он, наконец, убедился, что больше ничего нет, он сел на развороченную землю, положив монеты между ногами и по-детски принялся их считать. Их было много и все золотые. Достаточно было почистить их землею и натереть листьями, чтобы они засверкали. Но куда девать их? Он пытался составить вновь кувшин из разбитых черепков, но тотчас пришел в себя, подумав, что сошел с ума, и глубоко вздохнул.

В течение нескольких дней он держал клад спрятанным в кожаном мешочке. Но он боялся, что его украдут и клад его под себя, ложась спать или, вернее, ложась, чтобы думать о том, что ему теперь делать, так как он больше не знал сна. Он не возвращался теперь в село из страха, что там он может впасть в искушение, истратив монету, и, таким образом, обнаружить свою тайну и подвергнуться опасности быть ограбленным. Он боялся правосудия: он знал, что клад принадлежит частью хозяину той земли, где их находят, частью правительству и, таким образом, ему досталась бы лишь небольшая часть, и все смеялись бы над ним. Он боялся также женщин, — чтоб они сгорели! — Они, конечно, набросились бы на него, как морские орлы на заблудших в степи ягнят. А больше всего он боялся своих родственников, у которых он жил, и которые всегда издевались над ним, как над никудя негодным простопилей. Он же хотел им — вернее себе самому — доказать, что он хитрее, как другие, более того, — что он гораздо хитрее

других. Он стал мало есть, чтобы, по возможности, дольше сохранить свои запасы и, таким образом, не быть вынужденным возвращаться в село, и работал с хорошо прикрепленным кожаным мешочком за спиной. Но запасы все же шли к концу, и он должен был вернуться в село. Тут ему пришло в голову спросить совета у дна Гавино Аливезу.

Дом дна Гавино Аливезу был всегда открыт для всех. Наружная лестничка вела из уединенного, поросшего зеленью, дворика на верхний этаж, и Джан Гавино поднялся прямо со своей ношей, не спросив позволения. Он вошел в густую комнату, с деревянным потолком, сквозь открытое отверстие которого виднелся потолок верхней комнаты. Он остановился и стал глядеть вокруг с тем выражением лица, которое было у крестофили Джоффа, героя сардинской легенды, когда мать бросала ему через окно бобы.

Да, дон Гавино Аливезу принимал всех, но как все же сделать, чтобы повидать его?

— О-о! Кто там?

И вслед затем сквозь дверцу в потолке просунулась лестница, и он, пошатываясь, взобрался по ней, с ношей за спиной. Вместо отшельника с белой бородой, он увидел еще молодого, толстого человека, с черной бородой вокруг смуглого лица, котрый писал, сидя за столом, у открытого окна, откуда виднелась степь, вплоть до того места, где Джан Гавино сеял свое зерно. До моря отсюда казалось так же близко, как от одной до другой книги, лежавших на столе.

Но что больше всего удивило Джан Гавино, это—присутствие высокой и сильной женщины, бледной гитантиш, которая стлала постель и по знаку хозяина спустилась вниз по лестнице, по-



добрав юбки вокруг ног. Это была чужестранка \*), которую Джан Газино иногда видел на дороге, ездившей верхом на лошади. Что она делала, куда направлялась, он не знал, так как никогда не интересовался чужими делами. Но во всяком случае, он убедился, что дон Газино Аливезу изменил свой взгляд на женщин.

Когда хозяин обратился к нему, держа перо в руках, с вопросом: «Чего тебе надо?» — он раскрыл рот, но не мог говорить. Нет, не мог! Человек с пером в руках, сидевший перед ним, походил на столькох других людей: на синдика \*\*), например, родственником которого он был, на врача, на господина судью... И зачем он писал! Кому писал?

Джан Газино вспомнил, как он был однажды в Нуоро \*\*\*), в качестве свидетеля, и остановился в гостях у крестного одного из своих родственников. Там, во дворе, как-то вечером он рассказал слугам и девушкам, вышедшим подышать свежим воздухом, одну историю. И что же? Одна из этих девушек, которая писала, напечатала потом эту историю в газете. В селе газету прочитали учитель и судья и стали смеяться над ним, Джан Газино, и также над ней, дочерью крестного его родственника.

Нет, право, он боялся людей, которые пишут.

— Ну, что же? — терпеливо спросил барин, глядя ему пристально в лицо своими красивыми, черными и живыми глазами. — Чего тебе надо?

— Ничего, извините, простите за беспокой-

\*) В различных областях Италии „чужестранцами“ называют всех не уроженцев данной местности.

\*\*) Синдик — глава местного самоуправления (городской голова, старшина).

\*\*\*) Город в Сардинии.

ство... Я хотел... я хотел спросить вас, кто эта женщина?..

И он знаком указал на дверцу, слегка подмигивая при этом. Хозяин рассмеялся, как мальчик, обнаруживая все свои белые сверкающие зубы.

— Понимаю, — сказал он, поворачиваясь к столу.

— Кто она? Кто она? — настаивал Джан Гавино.

— О, это хорошая женщина: она — вдова, у нее кое-что есть. Порою она приходит ко мне за советом по поводу одной тяжбы. Она из хорошей семьи, но я думаю, что если она захочет вновь выйти замуж, ее родня не воспрепятствует этому. Молодец, молодец! Не хочешь ли ты, чтобы я ее позвал?

— Нет, уж я сам с ней поговорю, если ваша милость позволит..

— Молодец, молодец... Из каких ты будешь? Ты хозяин или пастух?

— Пастух, — сказал Джан Гавино.

Сам не зная почему, он боялся этого человека, этих черных глаз, чей взгляд пронизывал его всего и, казалось, проникал даже внутрь кожного мешочка..

— Оставайтесь с Богом, — попрощался он товопливо, отступая к дверце, и ушел, но имя Бога вызвало в нем как бы чувство печали.

Ведь, он согрешил: он лгал, не доверяя этому доброму человеку, притворяясь, что интересуется женщиной, одинокой вдовой, которая его несколько не занимала. Возвращаясь, он видел ее стоящей неподвижно, как будто в ожидании, у подножия лестницы, и разглядывавшей его своими огромными глазами гигантии. Ему каза-



лось, что она слышала все, и покраснел, проходя мимо и еле поклонившись ей кивком головы.

Но, вернувшись к одиночеству со своей ношей на плечах и тысячью волнений в сердце, он снова увидел ее. Сильная, спокойная, сидя верхом на рыжем коне, она озиралась вокруг степной дороги; поровнявшись с Джан Гавино, она пустила коня шагом и сверху взглянула на юношу, и тот покраснел во второй раз. Так заключили они дружбу. Она хорошо говорила и никогда не смелась. Рассказывала, что не боится ездить одна и по ночам, и, если нужно, передевается мужчиной. Однажды ее остановили бандиты, но если верить в Бога, то всегда выйдет невредимым.

— А ты,—спросила она,—скажи, почему ты говорил обо мне? Какие у тебя намерения?

— Хорошие. Но... я видел тебя прежде тогда, когда ты была верхом и ты казалась мне менее высокой. Я слишком мал для тебя.

— Перед Богом мы все одного роста.

Это была первая женщина, которая говорила с ним так, и он чувствовал, как бьется у него сердце. Но трепет достигал спины, где висел мешочек с золотом,—и он снова становился недоверчивым: может быть, женщина знала и ухаживала за ним, ради денег?

Когда они расстались, он проводил ее печальными глазами. В ночной тревоге ему пришла в голову мысль спрятать клад в расщелинах горы, куда долетают лишь морские орлы. Ведь, всегда можно будет взять его обратно,—когда женщина, если и вправду, как она делает вид, полюбит его бедняком.

Он отправился. Была лунная, голубая, осенняя ночь. Золотая змея протянулась через море.

Под остроконечной скалой неподвижная вода казалась молоком. С детства знал он расщелины, где орлы выют свои гнезда, и поэтому скоро нашел то, что ему нужно было. Там оставил он мешочек, но, возвращаясь в шалаш, он не крепко держался на ногах, задумчиво склонив голову на бок, неуверенный, уже расклявшийся и не мог ни заснуть, ни успокоиться до рассвета, чтобы пойти и взять обратно свой клад. Все вокруг было голубым и кровавым, и под скалой вода была так спокойна, что отражала тень полета чаяк и орлов. Только человек был мрачен среди общего покоя. Он искал, искал всюду между расщелинами, но солнце взошло, а он все еще не нашел клада. Наконец, ему показалось, что он видит вдали какой-то предмет, словно желтеющий труп животного. Тогда он понял все: орлы, думая, что мешочек это — живая добыча, утащили его и затем бросили в море.

И Джон Гавино вернулся к себе обратно и стал ждать, что, быть может, хоть женщина вновь пройдет мимо него. Но и женщина никогда больше не возвращалась...



## ПЛАТЬЕ УБИТОГО.

Они ехали, не спеша,—так как жена, сидевшая или иногда растягивавшаяся на телеге, которую тащили два маленьких сонных вола,—была слабого здоровья, и с нею следовало обращаться осторожно.

Муж, напротив, был красивый, плотный юноша, с красным лицом, порою слишком красным, когда обильная кровь волнами приливала к его высокому лбу, спрятанному в пыльных и кудрявых волосах. Но когда он краснел таким образом,—из-за любого пустяка,—от гнева, как и от радости,—то становился еще красивее, и его черные, ясные глаза сверкали, как у ребенка. Детской у него была и улыбка, открывавшая ряд нетронутых, сомкнутых, как сплошное кольцо слоновей кости, зубов. Женщина же казалась старушкой, но тоже старушкой-ребенком, с ее тонким и сожженным лицом и синеватыми ресницами такой длины, что им трудно было двигаться над большими, грустными глазами. Эти большие глаза изумленно оглядывали все кругом, словно хотели выбрать отражение самого прекрасного, что есть в мире. Иногда они оживлялись, наполнялись светом, и все лицо прояснялось тогда, внезапно помолодев. Должно быть, именно поэтому, молодой человек, следовавший пешком за телегой, чтобы она не очень трясла, каждый раз склонялся немного и говорил:

— Джугла, Джугла, взгляни на меня! Ты не говоришь больше? Хочешь спать?

И Джуза медленно приподымала свои ресницы. Они возобновляли прерванный разговор, но так как было уже говорено обо всем, что нужно говорить, — то она скоро утомилась, опускала ресницы и давала убаюкивать себя тяжелому движению телеги. Да, она хотела спать, и ей казалось, что она лежит в колыбели или в лодке, и что все было сном, — вся прошедшая жизнь, настоящее, будущее.

Для того, чтобы укрыться от жаркого майского солнца, между двумя шестами по одну сторону телеги была протянута большая простыня, и воз, двигавшийся со своим медленным колебанием по дороге, покрытой голубоватым грачем, в густой траве дикого плоскогорья, казался судном, с трудом подвигающимся по взволнованному морю. Иллюзию моря увеличивал совершенно открытый круг горизонта в синей дымке, откуда подымались большие облака, быстро распускавшиеся на горячем небе, где изредка пробегал восточный ветер. Когда же он прекращался, все вновь, насколько хватал глаз, становилось неподвижным, и лишь кустарники да кустарники, камни да камни следовали друг за другом, меняясь местами.

Подъем совершался незаметно. Черная точка показалась вдали на верхушке белой линии дороги, в глубине, между пробегающими облаками. Ветер становился все более жарким и ароматным. Женщина поднялась и стала вдыхать своими прозрачными ноздрями, взволнованными легким трепетом, этот дикий и чистый воздух — воздух прошлого, юности и любви.

— Джула, Джула, как мы проживаем? Разговори-ка эти тучки... Хочешь еще спать? Мы уже на поддороге, и бабушка теперь, наверное, уже



начинает зажигать огонь и наполнять кастрюлю зерном, чтобы пожелать нам доброго счастья. Джула, мы на полдороге,—вот и памятник Мезу Камину \*).

Но Джула сейчас же опустила нолуприподнятые ресницы, и мужчина тоже стал задумчив.

Через несколько шагов ему как будто захотелось сказать ей несколько слов. Но он покраснел, опустил немного голову и потом тряхнув ею, словно думал отогнать кровь, прихлынувшую из сердца, и стал глядеть в даль, впереди себя, по направлению к черной точке, которая все росла и, казалось, готова была загородить дорогу. И женщина тоже медленно, медленно повернула туда голову, глядя в даль. Оба они думали об одном и том же, но каждый старался спрятать от другого свое лицо, чтобы скрыть собственные мысли. И общее чувство подавленности охватило их, словно дорога, действительно, вдруг оборвалась, и не было возможности ехать дальше.

Там, у памятника, в прошлом году в это самое время был найден убитым, раздетым и изувеченным один человек, богатый вдовец-хозяин, сватавшийся за Джулу. В то время Джула была здоровой девушкой. Она, сирота, воспитывала своих пять бедных братишек и одна в состоянии была просеивать муку, месить ее и печь хлеб из трех гектолитров ячменя. Вдвеец, сосед ее дома, имел надобность в женщине, которая умела бы готовить хлеб для прислуги, приглядывать за его домом так, чтобы все было в исправности, слепому—в верной служанке, недорого стоящей. Когда он умер, Джула с двумя из своих братьев

\*) „Мезу Камину“—на сардинском наречии „полдороги“.

отправилась в Нуоро на услужение к другому богатому хозяину, — но уже не вдовцу, а женатому на красивой пятидесятилетней женщине, беременной в десятый раз, и имевшему вместе с братьями Джулы семь слуг, которых едва хватало на то, чтобы следить за его стадами, свиньями, лошадьми, рожами.

В первое время в этом оживленном доме Джуле казалось, что она находится посреди моря. Шум колыбели отвечал шуму жернова; парни толкали ее со всех сторон, то и дело встречая ее во время своей беспрестанной беготни, прекращавшейся лишь ночью. Но вскоре хозяйка дала ей определенные обязанности, и однообразие работы отторгало ее от других обитателей дома. Дни и ночи она просеивала ячменную муку и пекла хлеб для прислуги. Осенью она распевала под ровный и тихий шум сита. Это были четыре стиха и таких однообразных, что осленок от времени до времени останавливался, засыная возле сита. И чтобы разбудить его, вторая служанка, баюкавшая ребенка в соседней кухне, высовывала голову и орала другие четыре стиха, в ответ на те, что пела Джула. Изумленная Джула приподымала ресницы на белом от муки лице, пробуждаясь от дремы. Тогда она пыталась вспомнить иные стихи, и пела нуорийскую песенку:

— Когда взойдет звезда,  
Подойди, красавица, к окну  
Чтобы постоять, воздушная,  
С возлюбленным...

Но осел внезапно останавливался, засыпая и товарища еще муче кричала:



— Когда восходит звезда,  
Лиса выходит в дозор.  
У кого красивая жена,  
Пусть трубит в трубу.

Словом, в этом доме нельзя было спать ни днем, ни ночью. Ночью пекли хлеб, и запах его распространялся далеко вокруг вместе с однообразным шумом лопаты, опускаемой в печь, и болтовней женщин, которые сидели на полу и торопливо растягивали пальцами большие серые лепешки из ячменной муки. Джула же их пекла. Она стала бледной и худой. Пыль ячменной муки портит кровь тех, кто постоянно вдыхает ее, и непрерывный пламень горящей печи, — немолчалимый, спокойный пламень, ударяющий в лицо и грудь женщины, сидящей, вытянувшись, на земле для того, чтобы лопатой сражаться с хлебом, который надувается, движется и трепещет, как живой, — сжигает и изнуряет, в особенности, если за спиной горит другой огонь и приходится иметь дело и с иными заботами.

И Джула, не зная сна, в лихорадке, смотрела в глубь печи глазами, отражавшими пламя, и вместе с хлебами видела там оживающими свои собственные видения. Это были камни и камни, мертвенно-бледные, на плоскогорье, окрашенном в красный цвет блеском трагического заката. И круглая печь с низким отверстием напоминала ей памятник, где был найден голый, изуродованный труп вдовца.

Так изнурялась она за работой, до тех пор, пока один из ее старых претендентов \*) не поспав к ней одного из ее братьев спросить, не

\*) Искатель ее руки.

хочет ли она выйти за него замуж. Он не был богат, как тот вдовец. Это был пастух коз, тоже сирота, еще ребенком взятый на воспитание старухой, которую он называл бабушкой. В его домике было немного работы, так как он не имел ни слуг, ни лошадей, и там Джула смогла бы отдохнуть, дышать родным горным воздухом и выздороветь.

Она ответила отказом, но ее братья, два пастуха, служившие у того же хозяина, что и она, и трое других, тоже рассеянных здесь и там по свету, собрались однажды у нее и посоветовали ей согласиться. При этом они (впятером) смотрели на нее так же, как они это делали детьми, когда ожидали, что она раздаст им по куску хлеба, или требовали воды и других нужных для жизни вещей. Тогда она согласилась. Юноша спустился в село, они справили свадьбу, и теперь он увозил ее с собой на телеге, устланной травой и папоротником. Переговорив о самых различных вещах, — о сельских жителях, о ее хозяевах, о братьях-пастухах, которые украсили маленьких сонливых волов брачной телеги, согласно обычаю старых времен, апельсинами, воткнутыми на кончики рогов, и дозами барвинка, вокруг вялых, болтающихся шей, — они теперь молчали, глядя на памятник у конца дороги.

Там они остановились. Это был самый возвышенный пункт плоскогорья, и оттуда виднелось море. Вся местность вокруг, усыпанная камнями и заросшая ежевикой, была печальна, словно ее опустошила битва гигантов. И все же, все проходившие там имели обыкновение останавливаться, особенно во время солнцепека, так как тень от памятника в этой местности, лишенной деревьев, звала к отдыху, и супруги последова-



ли общему обычаю. Мужчина стал вдруг веселым, каким Джула видела его много лет назад. Он был охвачен нервной и дикой радостью, — с пылающим лицом, с глазами то милыми, то жестокими, как у играющих детей. Говорил он громко, но голос его терялся, поглощенный великим молчанием вокруг, — молчанием, поражающим Джулу, в голове которой еще отдавался шум хозяйского дома. Ей казалось, что она находится на вершине горы, в час покоя, когда спит ветер, и на горизонте дремлют облака, покаясь в колыбели моря.

Нечто первобытное царило крутом, и далекий мир, село наверху, город внизу, хозяева, слуги, богатые и бедные, все человеческие законы — ничто не существовало больше.

Джула сошла с телеги и встряхнула платье. Она была маленького роста, но хорошо сложена, несмотря на свою крайнюю худобу, и, когда она развязала платок, показалась белая шея, покрытая голубоватыми жилками, и тяжелая коса, спускавшаяся с затылка. Она была блондинкой, с смугловатой кожей, сожженной огнем печки. Мужчина взглянул на нее и подскочил.

— Джула, — сказал он, вынимая из телеги мешок, — ты помнишь?

Они смотрели друг на друга, улыбаясь, и это был самый счастливый момент их первого брачного дня.

— Теперь мы устроим пир, — сказал он, вытаскивая провизию из мешка.

Они сели на землю посреди золотых кустов ивановых цветов и принялись за еду.

От времени до времени он брал ее за руку и сильно сжимал ее, улыбался своими прекрасными зубами, сверкавшими между мясистыми

губами. Он заставил ее лгать, хотя это ей и не нравилось, потом поцеловал в губы, чтобы осушить их от слез.

— Теперь надо бы петь, — но с кем? А, Джула, маловато приглашенных на нашем банкете!..

Он поднялся на мгновение и оглянулся вокруг, чтобы убедиться, одни ли они... Она снизу смотрела на него, такого высокого на голубом фоне, и ей казалось, что все это сон. Ей припомнились песенки, которые она пела внизу, среди однообразного шума сита и жернова, и ей почудилось, что грубый голос подруги по работе пробуждает ее ото сна.

— Петь, но с кем? Эх, Джула, какая у нас сиротская свадьба, — сказал он, вновь усаживаясь рядом и прижимаясь к ней, по-детски положив ей в передник голову. Джула смотрела на него теперь, сверху материнским взглядом, но бледная, взволнованная биением сердца, которое все росло по мере того, как он жал ее руку и поднимал голову с колен, чтобы взглянуть на нее, — биением сердца, подобно чудившемуся ей топоту лошадей, которые все приближались и, казалось, должны были растоптать ее.

Он лег перед ней, словно желая лучше отдать ей всего себя, поднял руки и привлек ее голову к своему лицу. Казалось, что он хочет поведать ей какую-то тайну.

— Джула, ты помнишь, как мы целовались в первый раз? Это было здесь, вспоминаешь? Тебе было пятнадцать лет, а мне шестнадцать. У твоего отца было здесь стадо и мы пришли сюда стричь овец. Да, ты помнишь это, моя птичка? Был тогда также и ваш сосед, который еще не был вдов и не думал о тебе... Но почему же



ты не хочешь меня целовать? Ты все еще думаешь о нем?..

Джула перестала качать головой и опрокинулась навзничь с закрытыми глазами и трясущимся ртом. Все лицо ее приняло синеватый оттенок и под ресницами образовались черные круги.

— Джула, Джула,—сказал он испуганно, подымаясь и приподымая ее на руках.—Взгляни на меня!

Она приоткрыла глаза и улыбнулась, но заплакала. Тогда он снова превратился в мальчика, каким был десять лет тому назад, опустился к ней, стал тянуть ее за косу, чтобы заставить улыбнуться, целовал в шею, пересчитывал пальцы, притворялся, что крадет у нее кольцо. Он опять стал говорить с ней об односельчанах, о ее братьях, о его старой бабушке, которая ждала их дома с приготовленным кофе и сладостями для соседей, родных и друзей; об одной женщине, которая вбила себе в голову женить его на старой и хромой деве, имеющей серок коров и три улья.

— Но мой улей—это ты, ты, Джула! Как ты меня ужалила своими пчелами!.. Но сколько меда, моя птичка, птичка моя... Посмотри на меня, Джула, ты больше не сердишься?..

Она молчала и пристально глядела ему в глаза, так же пристально, как в былые времена смотрела в печь. Лицо ее опять сделалось белым, а ротом розовым от его поцелуев. Она была хороша, как десять лет тому назад, и он потихоньку поднялся на колени, крепко схватил ее на руки, вскочил и понес к развалинам памятника, чтобы скрыть ее даже от окружавших их уединения и тишины.

Джула казалась мертвой, — мертвой от счастья, от ужаса. Ей казалось, что лошади, чей то- вот она слышала вдали, а затем все ближе и ближе, уже пробежали, растоптав ее под собой. У нее хватило лишь голоса, чтобы спросить его об одном:

— Козма, мое сердце, теперь мы супруги, теперь, когда ты взял меня, ты можешь мне сказать все, — шептала она, положив голову с распустившейся косой к нему на плечи: — Это ты убил его? Скажи мне: теперь мы едины плотью, и я не могу выдать твоей тайны. Скажи мне это, — тем более, что в глубине сердца я знаю...

Он поднял свое лицо, и они посмотрели друг на друга. Ее глаза полны были тревоги, ужаса и надежды, — глаза, которыми душа, захваченная на краю пропасти, еще призывала спасение, хотя и знала, что оно невозможно. Он взглянул на нее. Он чувствовал себя потерянным, но про- ясть влекла и его.

— Да, — сказал он, наконец, и закрыл глаза.

Она не закричала и не двинулась.

— Козма, мое сердце, слушай, почему же ты раздел его, почему ты его изуродовал?

— Потому что он хотел ограбить меня, изуродовать меня, отняв тебя. И ты тоже меня ограбила и оскорбила, бросив меня, так как я был беден, а он богат... Вот почему...

— А где же его одежда?

— Я ее спрятал здесь, в глубине отверстия в памятнике. Здесь, — сказал он, повернув лицо, чтобы поискать глазами место. Но когда он снова взглянул на нее, то увидел, что лицо ее опять стало синим, с неподвижно поднятыми ресницами и зрачками, которые закатились, точно иска- ли ресницы, — чтобы спрятаться.



— Джула, Джула!

Он вскочил, держа ее на руках, и вынес из-за памятника. Там он положил ее на траву, между ивановыми цветами, пальцами опустил ее ресницы,—так страшны были ему эти белые глаза без взгляда, которые уже ничего не могли видеть на земле.

Он не плакал, не кричал, но и не решался положить ее на телегу и повезти так, одетый женихом, в село. Он оставался на месте весь день. Закат окрасил кровью кусты и камни. Исчезла тень, падавшая от памятника, ибо все стало темнью вокруг мертвой женщины. Он глядел на нее, сидя на траве, и ему казалось, что она, наконец, заснула, после столькох ночей забот, с косами, смешавшимися с травой, с усталыми и печальными рабочими руками.

— Почему ты согласилась выйти за него? Или он был мужчина лучший чем я?—спрашивал он ее, думая о старой бабушке, которая ждала его с кофе и сладостями, а теперь должна будет пить ему одежду вдовца.

Наконец, он почувствовал, что пала роса, и подумал, что это не хорошо для бедной Джулы. Он поднял ее в последний раз и положил на телегу, покрыл тело простыней, опустив ее на подбое крыла. Затем он снял с быков апельсины и барвинок и положил их рядом с мертвой. Потом впряг волов в телегу, но все еще не решался ехать.

Наступила ночь. Луна поднималась над памятником, и он увидел позади себя тень. Теперь и он стал вдовой,—но без слуг, без имения, без детей. Ему не нужна была вторая жена, но от некоторых забот, все же, можно было предохранить бабушку. Тогда, не сознавая хорошо, что

делает, он вернулся к памятнику, порылся там и достал платье убитого вдовца, и повез его с собой в село в мешке, у ног умершей. От тряски распухший мешок двигался при блеске луны, словно внутри его лежал живой барашек. И Козма подумал, что все происшедшее за этот день свершилось по воле Бога, желавшего покарать его за преступление. Да, это Господь внушил ему спрятать одежду в этом месте, и затем взять ее обратно, чтобы надеть на себя в знак кары.

Платье узнали на нем. Его арестовали, он сознался и был осужден.





## ДРАМА.

### 1.

На последней неделе Великого поста, хотя все мужчины были в селе, чтобы исповедываться и присутствовать при священных церемониях, кабачок прекрасной Иларии был пуст, — именно от того, что во дни покаяния никто не смел напи- ваться.

Сама Илария почувствовала бы себя смущен- ной, случись это иначе. И все же она, черная и суровая, как вдова, сидела на обычном месте, пе- ред большим камином, пламя которого своим красным блеском придавало окружающему вид старой таверны. Так проводила она целые дни, лишь ночью удаляясь спать в соседнюю комна- ту, которой никто не знал.

Все мужчины, посещавшие лавочку, знали угол у камина, куда они приходили согреть ше- роховатые руки или достать пальцами уголь, чтобы зажечь трубку, или еще затем, чтобы пы- таться поухаживать за Иларией. Но если пылаю- щий уголь еще можно было взять руками, то Илария была неприступнее огня. Молчаливая, она даже не отвечала на предложения мужчин и лишь смотрела на них своими большими мрач- ными глазами, зеленоватого цвета на бледном ли- це в рамке черного платка, скрепленного у лба серебряной цепочкой. Она глядела на них с пе- чалью и угрозой и указывала на камин, где не- рочинным ножом сделано было двенадцать за-

рубок, означавших двенадцать лет, что ее муж сидел в тюрьме за убийство человека, который похвастался тем, будто он был ее любовником.

В такие точно дни, около Пасхи, она сделала первую зарубку. И теперь, читая по складам книгу Святой Недели, она сливала в одном чувстве свое собственное горе со страстями Христа. Да, это были страшные недели, а за ними следовало три дня, подобных смерти—дни суда над ее мужем. Она очнулась потом, но плита над ее могилой не приподымалась больше.

Жизнь кипела вокруг нее,—в криках, радостях, пьянстве и свирепом гневе окружавших ее мужчин. Но она молчала, как мертвая, неподвижна на своем месте, в глубине таверны, через раскрытую дверь которой виднелась лишь белая линия дороги, замкнутая покрытой зеленой горой, где под пустынной глубиной неба, постоянно паслись медлительные волы и лошади. Временами молчание и неподвижность, царившие вокруг, заставляли ее думать, что над дальним миром тяготеет кара ее мужа, а над ближним—ее собственная кара, и что все вокруг сон или тихая гробница.

И все же под кажущейся смертью она жила в постоянном ожидании.

Однажды, в конце Великого поста, когда она дремала с книгой в руках, показался высокий, почти юный, гибкий, как женщина, человек, недоверчиво оглядывавшийся в дверях, словно он опасался от преследования и искал убежища.

Илария раскрыла глаза, но ей казалось, что она продолжает дремать. Мужчина вошел, нагнувшись под дверью — так он был высок, и уселся у стола, рядом с синеватыми бочками. Ни-



чего не спрося, он уперся локтями о стол, положил свое смуглое лицо на белые руки и стал пристально смотреть на Иларию, улыбаясь ей и раздражая ее своими черными глазами, сверкавшими сквозь пальцы. Она тоже глядела на него, и пепочка дрожала у нее на лбу от волнения. Наконец, она поднялась и подошла к столу.

— Что прикажете, дон Маттиа?

— Дай мне олиенского вина, если имеешь.

Он стал пить, а она вернулась на свое место и усилила огонь в камине. Сердце ее сильно стучало: ей казалось, что она догадывается, зачем пришел этот человек, и ожидала, чтобы он заговорил.

И действительно, возбужденный вином, он начал первый:

— Ну, Илария, о чем задумалась? Я, впрочем, знаю, о чем!.. Ты думаешь, что меня послали сюда моя жена и теща? Ты полагаешь, что они были у исповеди и исповедник сказал им:—ну, простите, женщины, внемлите желанню этой несчастной, подпишите просьбу о помиловании ее мужа. Правда, Илария, священник был у нас однажды, принес твоё послание и сказал: Илария убеждена, что мужа ее помилуют, если прошение будет подписано вдовой и дочерью жертвы. Да, быть может, это и так, быть может, и действительно, нетрудно этого добиться. Но скажи, разве ты веришь, что те женщины могут когда-либо согласиться на это?

Илария с'ежилась на скамье, — суровая, с огромными молящими глазами, полными огня. Мужчина жестоко улыбался своими зубами, поспевшими от густого вина.

— Да, попробуй, сунься к ним,—они задумают тебя! Ты знаешь, что говорит моя теща.

Она говорит, что это ты держала себя вызывающе по отношению к мертвому,—ты, красавица, хотела его завлечь, так как он был богат, а богач, даже пожилой и семейный, всегда является лакомым куском для трактирщицы... хотя бы уже поэтому, что служит хорошей приманкой для гостей...

В то время, как он говорил, зрачки Иларии расширились, словно от физического страдания. Она ничего не ответила, попрежнему склоняясь над камином, но уже не усиливая огня.

Итак, ее безумная надежда рушилась: враги не хотели простить, и ничто на свете не интересовало ее больше. Она безразлично слушала, что говорил все более пьяневший мужчина.

Клевета, ненависть, угрозы ее врагов, даже любопытство узнать, почему дон Маттиа через два года после свадьбы,—во время которых он по приказу жены и тещи, никогда не ступал ногой в кабачок,—внезапно появился здесь, чтобы ее мучить,—ничто не возбуждало ее больше.

В свою очередь, замолчал и он,—после того, как в туманных фразах вспоминал те годы, когда маленьким разоренным дворянчиком посещал вместе с друзьями трактир, не зная, куда деваться.—Кругом все молчало, и лишь легкий плеск вина, переливаемого из бутылки в стакан, иногда нарушал тишину, позволявшую слышать свист пастуха вдали, позади скалы. Казалось, что весь мир кончается там, на серой линии кустарников, смешавшихся с яркими мартовскими облаками.

Иларии почти страшно было оглянуться. Ей снова казалось, что она видит сон. Она читала, но меньше, чем когда-либо понимала слова кни-



ги. Наконец, кто-то вошел. Это был пастух, нераскаянный пьяница, несколько часов тому назад исповадавшийся, и тем не менее чувствовавший себя не в состоянии уйти домой, не посетив кабачка Иларии.

Казалось, что и он испугался, увидев дону Маттиа... Он вошел на кончиках ног и присел на корточки перед огнем, повернувшись к Иларии и подмигивая ей:

— Пусть меня разразит, если те женщины это знают!

Илария посмотрела на него, не говоря ни слова.

— Они умрут от разлития желчи, они лопнут с их высокомерием, как спелые гранаты!..

Илария молчала.

— Ведь, он пришел сюда, чтобы им досадить. Он поссорился с тещей и женой—все это знают. Он поссорился, потому что они держат его в ежовых рукавицах, точно слугу. И понятно: они богаты, а он живет у них на шее...

Пастух говорил вполголоса. Илария оглянулась, чтобы посмотреть, слушает ли дон Маттиа. Но дон Маттиа спал с лицом, опущенным на руки и закрытыми глазами. Трагическое спокойствие отомстившего и отдохнувшего после мести человека стерло тонкие очертания его лица, придавая ему в то же время выражение трупa. Илария, знаяшая его еще ребенком, сиротой, оставленным на руках у бедных родственников, а затем видевшая его праздным парнем, внезапно ставшим богатым и рабом, взглянула на него на одно мгновение с состраданием. Потом она вновь отвернулась к огню, и лицо ее попрежнему стало жестким и неподвижным.

II.

Частые посещения донна Маттия стали скоро ее озабочивать. Он всегда торчал здесь и дурно говорил о своей теще с друзьями и даже с другими посетителями.

После Пасхи, особенно в субботу вечером и в воскресенье, лавочка была полна народом.

Он всё время, иногда с утра, сидел там, и порою любопытная женщина нарочно проходила мимо, чтобы заглянуть внутрь трактира.

Однажды Иларию посетил священник.

— Знаешь, ведь это скандал! Все село говорит, что это ты завлекла Маттия, послала за ним и держишь здесь, спайвая,—из-за того, что женщины не хотели подписать прошения. Что же ты думаешь об этом, Илария? Ты не была даже у исповеди.

Илария стиснула зубы, чтобы не выругаться. Цепочка дрожала на ее поддергивавшемся лбу.

— Илария,—сказал священник, дружелюбно хлопнув ее рукой по колену,—мы знаем, что это неправда: я, ты, он—мы это знаем; знает, быть может, также и кто-либо из тех лиц, которые это утверждают, отлично сознавая всю лживость своих слов. Но, ведь, ты знаешь, что не важна правда, а важна видимость. Протони же вон Маттия! Пусть он вернется домой и перестанет дуться; ведь, он влюблен в свою жену и приходит сюда только затем, чтобы рассеяться.

Илария спросила:

— Вас послали те женщины?

— Да,—признался священник.

— Тогда послушайте, что я вам скажу: пе-



редайте им, чтобы они подписали прошение, и я обязуюсь прогнать дон Маттиа отсюда.

Переговоры продолжались несколько дней. Наконец, священник принес ей подписанную бумагу.

Как раз в этот вечер Маттиа заменился, играя и выпивая, дольше обыкновенного. Он был чем-то озабочен и, когда все другие ушли, остался на месте бледный, с искаженным лицом, как в день своего первого посещения.

Было уже поздно. Большая луна поднялась над кустарником скалы и казалось, что она, едко улыбаясь, заглядывает в лавочку.

Илария встала и оперлась руками о стол.

— Дон Маттиа, я хочу попросить вас об одной милости: уходите и не возвращайтесь сюда больше. Люди шушукуются и говорят, что это я завлекла вас сюда. Я надеюсь, что мой муж скоро возвратится. Уходите же, сжальтесь надо мной!

— Это моя теща клеветает на тебя, я это знаю,—сказал мужчина,—но тем лучше!..

— Как—тем лучше?.. Какое зло причинила я вам, дон Маттиа, если вы позволяете, чтобы на меня клеветали.

— Ты не причиняешь мне зла, это она, чтобы ее удавило, причиняет мне зло! Но я поклялся, что заставляю ее умереть с досады—и так будет!..

— Дон Маттиа! Вы сами злой человек! Вы ленивы и перочны!

— О, о,—сказал он, изумившись ее храбрости и затем засмеявшись:—Я знаю, что они подписали твоё прошение, чтобы прогнать меня отсюда. Но подпись моей жены недействительна без моей. Однако, чтобы показать тебе, что я вовсе не

такой злой, как ты говоришь, я тоже подпишу. Дай мне бумагу.

Илария протянула ему прошение, а он, разглядывая бумагу, говорил:

— Да, твой муж уже отбыл половину наказания, он всегда отличался хорошим поведением и его, вероятно, помилуют. Он был пьян, когда совершил преступление, и так молод, и ты тоже, ведь, была молода, Илария,—сколько лет тебе было тогда?

— Двадцать, дон Маттиа,—сказала она, ставя перед ним чернильницу.

Но сначала с удивлением, а потом с ужасом она увидела, что мужчина, не подписывая, положил бумагу в карман.

— Знаешь, ты права, Илария: если он вернется, то, пожалуй, убьет меня. Этого, может быть, и добивается моя теща.

Тогда Илария сжала свою голову руками под черным платком. Ей, казалось, что она сходит с ума. Она упала на колени и закричала, судорожно протягивая руки:

— Отдайте мне бумагу! Отдайте мне бумагу!

Он встал и закрыл дверь. Затем вернулся на место в то время, как она подымалась, опираясь о стол, и сказал с грустью:

— Слушай, Илария, слушай! Не кричи, оглянись, не бойся, я возвращу тебе прошение, более того, я постараюсь, чтобы о нем позаботились, как следует. Клянусь тебе Христом! Повернись, взгляни на меня. Я бы мог учинить над тобой насилие, но не хочу. Посмотри на меня,—разве ты не видишь, что я еще более несчастен, чем ты?

— Но чего же вы хотите от меня?—крикнула она, оглядываясь на него.



— Поди сюда. Сядь рядом, и я тебе скажу.

И она медленно, как зачарованная, обошла стол, склонилась над ним и, плача, дала себя целовать.

### III.

Прошел год, прежде чем он сдержал клятву. Бумага все оставалась у него в кармане. Илария могла бы украсть ее и отправить, но не делала этого. Прежде всего, совесть не позволяла ей этого: она не хотела воспользоваться подписями, так как не только, с своей стороны, не сдержала обещания, но привязала себя к этому человеку цепью греха. Священник не раз бывал у нее, но она опускала голову и отвечала:

— Что же я могу сделать?

Через год, перед Пасхой, она сделала тринадцатую зарубку на камине, но затем вся содрогнулась, словно от внезапного разоблачения. Она убедилась, что все еще продолжала ожидать, но теперь она боялась, что время проходит.

Однажды Маттиа сидел у стола, бледный и подавленный, как в первый вечер, когда Илария его поцеловала.

— Ты знаешь, моя теща умирает. Это ее убивает досада, что я ей причиняю.

Илария не ответила—она знала это.

— Через несколько дней, быть может, завтра, как только она умрет, я стану главой семьи. Мне нельзя будет больше сюда приходить: необходимо прийти в себя и вспомнить, что я человек и христианин. Моя жена тоже страдает. Она очень хороша со мной теперь и, кажется, что это другая женщина. Илария, нужно быть добрыми в этом мире, иначе за все придется расплачиваться.

Она не ответила. Она зная это.

— Илария,—сказал он медленно, нагибаясь, чтобы поблизи разглядеть винные пятна на столе,—я отправлю просьбу о помиловании, и один депутат будет говорить об этом с министром. Ты довольна?

Она нагнулась, мертвенно бледная, сжимая себе голову обеими руками, как в тот раз.

— А, Маттиа! Презренный!.. Теперь ты это делаешь, теперь?!

Но он был нечувствителен. Казалось, что он заснул, как в тот день, когда впервые напился у нее.

— Маттиа, я не могу теперь оторваться от тебя. Маттиа, он убьет тебя, когда вернется.

— Это не важно: если убьет, значит я должен расплатиться за грех.

— Маттиа дай мне бумагу, я сама отправлю ее.

И она, умоляя, простерла судорожные руки, как в тот вечер. Но он быстро поднял глаза, жестокими зубами улыбнулся беглой улыбкой, а затем опустил голову.

— Илария, я уже отправил эту бумагу!..



## ЛЕГЕНДА О ХРИСТЕ.

Два жнеца шли в поисках работы. Но в этом году местность была опустошена засухой. Зерно сторело еще в зародыше. Токи на прогалинах казались белыми и пустынными, как зимой. Воды не хватало даже для питья.

Жнецы страждовали уже давно, в опорках, побелевших от пыли. Косы, болтавшиеся за их спинами, сверкали на неумолимом солнце. Все сверкало вокруг: далекое море, прибрежные кусты, горные камни,—но это было сверкание слез.

Жнецы не находили работы. Небольшие запасы хлеба и сухого творогу приходили к концу. Но наступил день, когда они почувствовали и жажду.

Они очутились у небольшого домика, окруженного выгоревшей изгородью из индийских фингов, под черным каменным подъемом без малейшего признака зелени. Перед домиком в кустах паслись козы. Некоторые из них карабкались по ту сторону изгороди на болезненного вида миндальные и персиковые деревья и жадно срывали листья.

— Нет ни собаки, ни хозяина, — произнес старший из жнецов. — Все же пойдем, посмотрим.

И они вошли, и в тени бузины, цветущей около двери домика, увидели лежавшую на бараньей шкуре красивую, смуглую девушку. Желтый, голубоватый свет полудня придавал ее

смуглой коже оттенок бронзы. Услышав шаги мужчины, она поднялась и села, пытаясь привести в порядок прекрасные, волнистые и словно пропитанные маслом волосы, глядя своими большими, темными глазами прямо в глаза старшему жнецу, который, остановившись перед ней, сказал:

— Мы ходим в поисках работы и страдаем от жажды. Не дашь ли нам напиться?

Она рассмеялась, обнаруживая во всю ширину рта свои крепкие и белоснежные зубы, затем лениво поднялась, встряхнула беспорядочно сидевшую юбку, потянула ее вверх, просунув для этого два пальца за пояс, спустившийся с ее стройного стана, и, наконец, подошла к стоявшей в глубине кухни скамье, на которой были уставлены кувшины для воды. Но все они были пусты и сухи. Тогда она оглянулась и снова засмеялась своим странным смехом, заключавшим в себе нечто от животного и все же делавшим ее еще более красивой.

Мужчины смотрели на нее из-за двери. Увидя, что кухня, несмотря на беспорядок, все же заставляла предполагать известную зажиточность, — ибо на решетчатой полке над очагом лежало несколько кругов заветного сыра и с черных, измазанных сажей, стен свешивались, кроме покрытых пылью и паутиной сковород, крупные штуки сала и колбас, а над печью стоял небольшой горшок с оливковым маслом, — старший из жнецов скривил в знак недоверия и упрека свой беззубый рот. Единственное окошечко кухни было полно мух. Все обнаруживало нерадивость, царившую в этом зажиточном доме. Девушка продолжала бессовестно хотеть, потряхивая кувшином, чтобы показать



путникам, что воды в нем нет. Молодой жнец, отвечая на взгляд своего товарища, мягко сказал:

— Но ведь ты можешь ее достать в колодезь.

— Иди посмотри, — ответила девушка.

Она говорила слегка насмешливым тоном, словно развлекалась тем, что раздражает жажду путников. Все же, она быстро прошла легкими шагами босых ног через кухню к колодезю и заглянула в него, точно желая убедиться, действительно ли он высох.

— Пожалуй, если порыть еще немного, вода и нашлась бы, — сказала она, все еще смеясь, потом вдруг побежала к навесу, наклонилась, взяв в обе руки миску для воды, из которой поят кур, и предложила ее жнецам.

Старший не решился взять миску, так как на поверхности небольшого количества воды желтели маленькие перья. Но молодой дунул на воду, прогнав таким образом перья, отпил и облегченно вздохнул.

— Желаю тебе доброго мужа, — сказал он девушке, глядя на нее своими синими юношескими глазами.

Тогда стал пить и другой. Уходя, они увидели, что девушка снова бесечно разлеглась на бараньей шкуре, отогнав кота, усевшегося рядом с ней, не менее спокойно, чем его хозяйка.

Жнецы шли вплоть до заката. Они углублялись в горную область, по направлению к долине Синисколы. Горы были окутаны красным покровом. Засуха была настолько сильна, что от нее трескались дубы с еще нетронутыми, желтыми, как золото, листьями.

Вот показалось небольшое село в изгибе долины, спокойно стоявшее в закате, с краснова

тыми крышами, высохшими огородами, сожженными дорогами и обнаженным ложем потока, поблдевшим от смерти.

Путники вновь почувствовали жажду. Они постучались в первый домик села, единственный, который окружало немного зелени и где на окне стоял горшок цветущей гвоздики.

Дверь открыла высокая и бледная девушка, одетая по обычаю крестьянок из хорошей семьи, в платье старого покроя, безо всяких украшений, с волосами, аккуратно запрытанными в чепчик; края его виднелись под платком, который она, очутившись перед незнакомцами, позаботилась завязать вокруг белого и нежного лба.

От нее веяло такой спокойной прелестью красоты, что старший из жнецов долго глядел на нее, не смея сразу попросить напиться.

Тогда другой сказал:

— Женщина, не могла ли бы ты дать нам стакан воды?

Она пригласила их войти. Они очутились в обширной прихожей с выходом в другие комнаты справа и слева и дверью, через которую виднелась зелень огорода. Около стен, не прикасаясь к ним, аккуратно стояли несколько стульев. В таком же порядке были и все другие предметы, находившиеся в комнате; веретено, которое она положила, чтобы пойти открыть; три наполненных кувшина воды,—один меньше другого,—все обнаруживало в хозяйке умную и заботливую женщину.

— Мне кажется, что я после пустыни попал в оазис,—сказал старший жнец, склоняясь, чтобы взять маленький кувшин.

Но девушка удержала его за руку и принес-



ла хрустальный стакан, который она, прежде чем наполнить и подать путнику, промыла водой, хотя он и без того был чист, как нельзя лучше.

Старший напился и сказал, поглаживая себя рукой по груди:

— Кажется, что это сидр, будь ты благословенна!

Она вновь заботливо вымыла стакан, проливя воду над базиликовым растением у двери, чтобы зря не тратить воды, затем протянула его наполненным молодому жнецу. И тот стал пить, и в то время, как пил, пристально смотрел своими прекрасными синими глазами в серьезное лицо женщины. Наконец он возвратил ей стакан и произнес:

— Желаю тебе злого мужа.

Старший товарищ покраснел с досады, но ничего не сказал.

Но когда они вновь очутились в пути и досада прошла, он задумчиво спросил:

— Учитель, ты говоришь, что никогда не надо делать дурного. Почему же ты предназначил хорошего мужа ленивой и неряшливой женщине и злого мужа—умной и учтивой?

И молодой жнец—это был Христос, странствовавший по земле для испытания людей,—ответил:

— Петр, не смущай себя сомнением: первой девушке я предопределил хорошего мужа, чтобы он мог направить ее на путь истинный, а второй—мужа дурного, чтобы она помогла ему исправиться.

## ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ.

Америка,—надо сознаться в этом,—оказала много услуг беднякам: у тех, кто отправился туда, но не разбогател, она не отнимает надежды на это; тех же, что остаются дома, она подымает в пене и весе. Вот хотя бы, например, мастер Антони Биккири, единственный не уехавший в Америку каменщик, оставшийся даже без помощи чернорабочего на фабрике богача Бонарио Салис, с каждым днем подымался все выше, как те стены, которые он водружал. Даже сам хозяин, Бонарио Салис, был вынужден подавать ему камни и известь. Но Бонарио, каким он был и в действительности, а не только по имени \*), в конце концов, начал входить во вкус своего нового положения: он сновал вверх и вниз, смеясь про себя и постепенно изучал, что значит день настоящего чернорабочего. Кроме того, он развлекался иногда тем, что с преувеличенной торжественностью передавал мастеру Антони послания от разных лиц, желавших, чтобы каменщик уделил им денек работы. Все жаждали этого драгоценного дня;—кто собирался жениться и думал оштукатурить дом, у кого на крышах или в стенах образовались трещины, грозившие крушением... Но Бонарио смеялся над всеми.

— Что написано пером, того не вырубишь топором,—говорил он:—у него была бумага под-

\*) Бонарио („Bonario“) — по-итальянски — добрый душой.



писанная мастером Антони, который обязался не покидать фабрики до тех пор, пока она не будет кончена.

И никто никогда не слышал, чтобы мастер Антони изменил своему слову: это был самый честный человек в селе. Он подумал поэтому, что Бонарио шутит с ним, по обыкновению, когда тот однажды, разгрузившись от большого гранитного камня, сказал ему, прищуриваясь:

— На этот раз нужно, чтобы вы пошли, мастер Антони. Речь идет о половине дня, — быть может и меньше, — чтобы поправить несколько ступенек в доме моей племянницы Анны, которая хочет его продать...

— Хочет продать дом? — сказал каменщик с невольным любопытством: — но, ведь, она его всего три месяца тому назад купила!

— Да, всего три месяца тому назад купила, — подтвердил Бонарио, — но теперь хочет его перепродать, так как там водятся духи.

И он принялся смеяться, убедившись, что мастер Антони стал, в свою очередь, серьезным и важным. Но каменщик не любил шутить — даже с хозяином фабрики. Он смотрел в даль, по направлению к домику Анны Салис, уединенному в глубине сада, и вспомнил, что он сам осматривал этот дом, прежде чем он был пущен с аукциона кредиторами бывших его владельцев, которые все, — мужчины и женщины, — эмигрировали в Америку. Супруги Салис, едва поженившись, почти даром приобрели этот маленький, но полный воздуха и удобств, домик, — а теперь хозяин перепродает его, потому что там завелись привидения!..

— Мастер Антони, — сказал Бонарио, вновь становясь серьезным, — отвечайте же мне, я не

шучу. Я освобождаю вас на полдня, и конечно: Моя племянница Анна кажется взаправду заколдованной, столько огорчений переживает она. Идите и почините эту лестницу, так как завтра она должна показать этот дом покупателю. Вы сделаете доброе дело.

Из-за желания сделать доброе дело, а также из любопытства, мастер Антони ответил согласием.

Он отправился в тот же день, в часы отдыха — между двенадцатью и двумя, — чтобы посмотреть, какая ему предстоит работа. В это время, под ослепляющим июньским солнцем, покой вокруг домика казался еще более напряженным. Пустынный огород церкви, прорезанный тенью колокольни, благоухал кустами наполнивших его цветов. Вокруг не видно было ни одной живой души. Мастер Антони вспомнил, как он ходил в первый раз осматривать дом. И тогда он толкнул калитку и прошел через двор, никто не встретив. Он подумал о злых слухах, ходивших насчет владелицы дома, Мимии Пирас, известной своей красотой долгами и прочими вещами. Действительно, местность была пустынная, вполне удобная для женщины, искавшей приключений.

Но мастер Антони тотчас же прикусил язык, как он это делал всякий раз, когда ловил себя на том, что дерзко осуждал ближнего. Ведь, в конце концов, Мимия Пирас пустила свой дом с аукциона для уплаты долгов и уехала с братьями в Америку работать: она, словно, умерла, а мертвых судить может лишь Бог. Но, даже и теперь, когда дом принадлежал Аннедде Салис, наиболее набожной и совестливой женщине се-



ла,—дверь была раскрыта настежь, место же по-прежнему было пустынным. Никем не обеспокоенный, он прошел через двор, кухню, коридор, поднялся по лестнице и подошел прямо к спальне супругов.

Женщина сидела на земле, у входа, с корзиной работы. Но она не шила. Бледная, с руками, опущенными на землю, и головой, приклоненной к стене,—она казалась больной. Она не пошевелилась, увидя грубого и большого каменщика, только огромные глаза ее печально сверкнули.

— Я вас ожидала,—сказала она вяло.—Мой дядя сказал вам, что я хочу продать дом. Да, я продам его и за ту же цену, что и купила. Да избавит меня Бог взять хоть одним грошем больше! У меня уже есть покупатель, который завтра придет осматривать, но прежде я хочу кой в чем убедиться: я хочу поднять первые ступеньки лестницы, так как под ней именно должно скрываться колдовство. Нужно убрать его вон, иначе мы все пропаем! Я уже здесь, наверху, два дня, мастер Антони, и не сойду больше вниз, если вы не пообещаете мне помочь снять проклятие с моего дома.

Мужчина смотрел на нее сверху, немного удивленный, немного растерянный: с колдовством шулки плохи, особенно, если оно сделано хорошо,—например, с помощью священника.

— Ладно, вставай! Не приснился ли тебе дурной сон?

— Эх, еслиб это был сон,—воскликнула женщина, подымаясь, уже несколько утешенная.— Дело в том, что с тех пор, как мы ступили сюда ногой, я и мой Паоло, нас преследует анафема. Разве мы прежде плохо жили? Мы любили друг

друга, как голуби,—я и мой Паоло. Но, войдя сюда, мы словно вошли в ад. Мы сразу заболели,—сначала у него ухо, потом у меня—нога, еще опухшая до сих пор. Затем у нас пала лошадь, убили собаку, даже курицы—и те дохнут, как отравленные. Потом приползла гадюка—и прямо к очагу. Но это все еще ничего. Хуже всего то, что мы ссоримся дни и ночи—я и мой Паоло,—и он уходит из дому и напивается, а я плачу и плачу. Он говорит, что я его мучу, в то время, как это он мучит меня. Клянусь вам, мастер Антони, с тех пор, как мы здесь, у нас не было ни одного спокойного дня. Вот и сегодня утром мы рассорились, и он ушел, сказав, что не вернется больше. Не он вернется, если мы удалим колдовство.

— Кто мог его учинить?—спросил мужчина, становясь все более серьезным.

— Кто? И вы спрашиваете, кто? Но, ведь, все это знают! Все знают, что Пирас, бывшие хозяева, проклинали тех, кто приобретет их дом с аукциона, и Мимия рассыпала соль вокруг дома. Ведь поэтому-то и не было воды в колоде, и все в огороде высохло. И прежде чем она уехала, видели, как она со скрещенными руками проклинала дом. Раньше я не верила во все это, но теперь, увы, пришлось поверить! Но и этого недостаточно: мне приснилось, что колдовство находится в доме. Я рыла под дверьми, но бесполезно. Теперь надо посмотреть под лестницей,—вы, ведь, знаете, что колдовство действует лучше всего там, где сильнее ступает нога. Но одна я не могу поднять ступеньки. Тогда я подумала о вас, так как вы совестливый человек и хороший христианин и поможете мне. Пойдемте же, мастер Антони.



Они отправились. Она прихрамывала,—более того, казалось, что она ходит только половиной тела. Сойдя с последних ступенек лестницы, она перекрестилась, потом испуганно оглянулась, ожидая мужчину, который, в свою очередь, спускался торжественно и осторожно, опасаясь упасть, и все же внимательно, глазом профессионала, присматривался к трещинам на сводах, к солидности стен и ступенек. Сказать по правде, каменная лестничка, зажатая между двумя высокими белыми стенами, со светом, лившимся сверху через слуховое окно,—имела таинственный вид: казалось, что она ведет в подземелье.

Сойдя вниз, мастер Антони потрогал с обеих сторон стены, и, наконец, сказал:

— У тебя есть небольшой дом?

У Аннедды имелся дом, заступ и много других железных и деревянных орудий, сваленных в кучу под лестницей.

— Тут должен еще быть и железный рычаг, — сказала она, отправляясь искать. И в то время, когда она искала, мастер Антони зажег спичку, и, склонившись, тоже принялся за поиски в кладовой над лестницей. В недолгом свете спички видны были заржавленные орудия, паутина, тряпки, мешки и кусок пола из утоптанной грязи, изборозжденного широкими трещинами. Грубое лицо мастера Антони вдруг загорелось оранжевым цветом, а его широко раскрытые, круглые и голубые глаза, впившись в расщелины пола, словно он прочитал там какие-то иероглифы \*). Наконец, он опустил спичку, которая не погасла.

\*) Иероглифы — египетские письмена, трудно доступные для чтения.

— Брось,—сказал он женщине, которая тоже смотрела туда,—если веришь мне, мы пойдем здесь.

Она повернула к нему свое страшно побледневшее лицо и содрогнулась, а потом медленно, так как колени у нее дрожали, поднялась и пошла доставать лампу из кухни, и в то время, как она зажигала свет, он, нагнувшись, долбил большим молотком пол. Достаточно его расчистив, он встал за дом и стал рыть. Женщина вся дрожала, держа в одной протянутой руке лампу, а другой, опираясь о стену. Находящийся здесь котенок осторожно и любопытно смотрел на происходящее, согнувшись в дугу у стены и вытянув хвост. Казалось, что он кое-что знает и следит большими зелеными глазами за тенью инструмента. Внезапно замаявав, он вскочил, схватил зубами вышвырнутую наружу вместе с разрыхленной землей косточку и убежал.

Аннедла испустила крик.

Между тем появлялись все новые косточки. Она поставила лампу на землю, опустилась на колени и принялась подбирать кости, укладывая их одну за другой в передник, который она сняла с пояса.

Мастер Антони потел, словно рыл колодец. Да, он так вспотел, что должен был рукою провести у себя по влажному, блестящему лбу, а потом осушить ее под мышкой. И все же он испытывал такое удовлетворение, что, быть может, в первый раз в своей жизни, пошутил:

— Какой славный миндаль и орехи я собираю, Анне!

Когда все было кончено, он накидал в яму



землю и заровнял ее ногами. Но когда они вернулись обратно на дневной свет, — им почти страшно было взглянуть друг на друга и подумать то, что они думали.

Она опустилась на ступеньки, которых уже больше не боялась, и начала плакать, поглаживая рукою передник, словно лаская ребенка.

— Смотри,—всхлипывала она,—тебя убили и погребли, бедное создание, дочь греха! Это ты так мучил нас!. Вот почему, прежде чем уехать, злая мать твоя рассыпала вокруг соль...

Мастер Антони тоже не сомневался в том, что это были останки убитого младенца, но совесть советовала ему пока молчать. Он молчал и был смущен.

Неожиданный приход мужа вывел их из затруднения. Он был хмур и готов возобновить ссору с этой женщиной-мучительницей, которая была его женой. Но, увидя ее плачущей перед задумавшимся каменщиком, он принялся хохотать.

— Ну, что же, нашли вы нечистую силу? Покажите-ка мне ее!..

Жена открыла передник и он, увидев там косточки, тоже сделался серьезным.

— Но что же это такое?

— Что это такое, мой Паоло? Это смертный грех! Не видишь? Это кости новорожденного, которого убили и погребли под лестницей. Это он-то и мучил нас, бедняжка! Но теперь я понесу его кости на святую землю, похороню, и Господь вернет нам мир. Да будет так, — сказала она, подымаясь и завязывая концы платка на лбу, готовая уйти.

Но мастер Антони остановил ее за руку.

— Постой, женщина! Надо исполнить свой долг! Надо понести кости к судье.

Она взглянула на мужа. Муж предпочел бы не иметь возни, но, конечно, не хотел казаться человеком менее сознательным, чем мастер Антони.

— Дай-ка мне эту штуку,—сказал он, расстилая на лестнице свой красный носовой платок. И женщина с изумительным послушанием медленно высыпала туда косточки и вдруг засмеялась, вспомнив слова мастера Антони:—«Какой славный миндаль и орехи».

Муж внимательно посмотрел на них, потом собрал в кулак кончики платка, повернул его, наполненного костями, и, встряхнув ими, сказал:

— Мастер Антони, скажите по совести, вы хорошо рыли? Тут не хватает головных костей.

— По совести могу сказать, что больше там ничего не было. Теперь отправимся к Правосудию, и будьте спокойны.

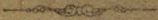
Вернувшись домой после вручения костей Правосудию, муж нашел Аннедду мирно стиравшей свой передник, огонь был зажжен, и покой, наконец, вернулся в их дом. Только ночью она проснулась и принялась плакать, вспомнив, что котенок унес одну косточку. Муж терпеливо встал и принялся искать ее во всех углах.

— Нет нигде,—сказал он торжественно, возвращаясь в кровать:—Но будь мужественна, Анна! Мы исполнили наш долг и совесть наша чиста!



— И совесть наша чиста, — повторила она, желая ему понравиться, и они заснули умиротворенные.

Так снизошел покой на их дом. И даже последние сомнения исчезли у нее, когда научная экспертиза через некоторое время установила, что косточки принадлежали поросенку.



## СКАЗКА.

Принцесса сидела у окна своего зала и, глядя на подымавшиеся из-за дальнего моря облака, спрашивала себя, зачем она живет.

Принцессе было двадцать лет, но казалось, что ей и больше и меньше этого: у нее были черные волосы, но местами их оттеняло уже серебро, лицо ее было свежее, но цвет его был слоновой кости.

Отец и братья ее были убиты на войне, а жених, испанский принц, покинул ее, узнав, что оставленные ей отцом сокровища оказались не столь велики, как можно было ожидать.

И вот, она, удалившись в замок у моря, вопрошала себя, зачем она живет.

Она уже не страдала больше, но порою оплакивала то время, когда, по крайней мере, страдала, когда горе вторгалось к ней с гулом и треском урагана, но также и с ослепительным блеском молний. Тогда ее гордость металась в вихре, подобно закованному льву, она рычала, вгрызалась зубами в свои страдания, но порою побеждала их. Время, — этот никем незванный враг, — кусками удаляло из ее груди больное сердце: теперь все молчало, все было пусто вокруг нее и в ней самой, и она оплакивала те дни, когда она, по крайней мере, страдала. Теперь дни протекали безразлично, — ни хорошие, ни плохие, а лишь долгие, долгие, хотя и была зима. Но зима была мягкая, согретая морским дыханием. Дубы в лесу, под замком, сохранили все



свои сухие позолоченные листья и, когда пробегал ветер, сквозь деревья виднелась трава, сверкавшая на подобие зеленой воды. По вечерам небо было так прозрачно, что даже через закрытые окна принцессе казалось, что она видит, как двинутся звезды.

В тот вечер, о котором идет речь, облака поднялись позади леса, над морем. Это были уже весенние облака, — желтовато-розовые, смешанные с голубым, — и, в первый раз после долгих месяцев, принцессе захотелось плакать, когда она спросила себя, зачем живет. К чему, для кого плакать? Этот вопрос задержал ее слезы на ресницах, подобно тому, как капли росы задерживаются в паутине. Но одна слезинка вдруг упала ей на грудь, и с груди скатилась на передник. Принцесса поняла, что она оплакивает самое себя, ибо ей жаль стало себя, и тысячи других слез покатались из ее глаз на грудь, с груди на передник, и так до земли.

Тогда ей показалось, что она вспомнила, будто кто-то ожидает ее помощи, и перестала плакать, и вспомнила, что она сама ждет от себя помощи. Она встала и приняла решение выйти замуж, иметь детей, которым она даст имя убитых на войне братьев, детей, которые, когда вырастут, тоже умрут на войне. В супруги на этот раз она хотела взять бедняка, так, чтобы ее сокровища казались ему большими, чем у короля Испании. И она захотела сначала узнать его, этого супруга, чтобы не вышло, как в тот раз с принцем, с которым она совсем не видалась.

Она позвала начальника стражи.

— Я хочу выйти замуж. Я устала проводить вечера в одиночестве теперь, когда можно будет открыть балкон и начнет петь соловей. Но я

хочу бедного мужа, который был бы, однако, чистоплотен и не богохульствовал.

— Трудно найти такого,—сказал начальник, обошедший весь свет.

Тем не менее, той же ночью он разослал гонимов—искать бедного жениха, но чистоплотного и благородного в обхождении.

Через семь недель вернулись гонимы. Начальник стражи пошел доложить принцессе. Окно было раскрыто, и воздух благоухал цветами и бузиной.

— Принцесса, юношу бедного, чистоплотного и благородного в обхождении нашли здесь, под замком, у берега моря. Он рыбак и прибыл сюда неизвестно откуда. Он красив, живет в хижине, окруженной цветником из роз, имеет лодку с желтым парусом, на котором изображен Христос.

— Прекрасно,—сказала принцесса.

— Но он не хочет жениться.

Принцесса ничего не ответила. Она подумала, что, быть может, рыбак стыдится подняться к ней, и решила сама спуститься к нему.

Она переделалась крестьянкой, покрыла голову платком и подумала о той радости, которую она доставит бедняку, когда он узнает, что женится на богатой.

У нее были маленькие ножки, привыкшие к скользким полам, и ей понадобилось много времени, чтобы придти к месту, которое находилось так близко, что там слышно было, как в замке ноют служанки, просеивая муку, чтобы испечь хлеб для стражи.

Тростниковая хижина стояла, словно большая



корзина среди цветника диких роз, и цветник этот был полон бутонов, начинавших распускаться, но так медленно, словно они не хотели, чтобы сразу обнаружилась вся их краса.

Море было синее, и на колеблющемся золотистом парусе лодки нарисованный Христос словно благословлял все окружающее.

Рыбак только что возвратился и разгружал корзину, полную серебряных рыб. Он повернулся к берегу, и глаза его были такие синие, что заставили побледнеть небо и море. Увидя крестьянку, он поздоровался с ней и пригласил в хижины.

— Я ждал тебя,—сказал он.

Она вся затрепетала.

— Ты, стало быть, желаешь меня?

— Конечно, я желаю тебя. Теперь, когда море спокойно и пение соловья напоминает сирен, — грустно оставаться одному. Но ты пришла.

Она не смела глядеть на него, так он ей нравился. Она чувствовала себя перед ним покорной, точно она, действительно, была крестьянка. Наконец, она сказала смиренно:

— Говорят, что ты не хочешь жениться.

— Да,—сказал он, сгибаясь над еще живыми рыбами, которые выскальзывали из корзины и трепетали на земле:—Мне предложили в жены соседнюю принцессу, но я не хочу ее. Я принял,—сказал он, подымая свое прекрасное лицо в волосах, спускавшихся ему на щеки, подобно гроздьям спелого винограда:—Я должен был жениться на принцессе, которую любил. Но мой министр не позволил мне жениться, так как до смерти ее отца оказалось, что ее сокровища не

столь велики, как ожидалось. Тогда, раздосадованный, я удалился и дал обет жить бедняком и жениться на девушке, родившейся бедной.

— Я та принцесса, на которой ты должен был жениться, и я хочу тебя таким бедняком, как ты есть.

— Но, к сожалению, я не могу жениться на тебе, ибо дал обет взять в жены девушку, родившуюся бедной.

Она поднялась и ушла: гордость заставила ее шагать торопливо, хотя ее маленькие ножки привыкли только к скользкому полу. Из мести она приказала начальнику стражи, чтобы ни одна девушка, родившаяся бедной, никогда не смела проходить через лес к прибрежным кустарникам.

И она снова уселась у окна своего салона и стала спрашивать себя, зачем живет.

Лес был в цвету, и в цветнике раскрытые розы показывались солнцу во всей своей красе, как любовница своему возлюбленному. Слышался шопот моря и томное пение служанок, затем, через некоторое время шопот и пение смолкли. Все казалось мертвым, мертвым от любви. Бедный принц сидел у неподвижного моря, перед лодкой и, на парусе Христос, тоже мертвый, склонил свою голову. Бедный принц сидел, опершись локтями о колени, и руки его сжимали гроздь волос. Девушка, рожденная бедной, не приходила, и он невольно думал о принцессе, непоколебимый, однако, в своем решении.

И она тоже, там, наверху, думала о нем, ибо это был единственный бедняк, чистоплотный и



благородный в обхождении, которого можно было найти во всем мире. Но так как он не желал ее, то она вопрошала себя, зачем живет, и оплакивала зимние дни, когда, по крайней мере, окно было закрыто. Теперь же оно было раскрыто и слышалось пенье соловья. И это пение наполняло ночь всем тем, что эти два влюбленных, сидевших вдали друг от друга, не могли выразить словами.

---

хол  
не  
она  
Фра  
деп  
ячм  
они  
веч  
сра  
сел  
мор  
нос  
вл  
  
том  
осв  
соо  
от  
при  
  
не  
оч  
сп  
вл  
ку  
же  
Ф  
не

ожно  
е же-  
ет, и  
мере,  
кры-  
е на-  
блен-  
могли

## ХОЗЯИН.

Едва в последних числах ноября наступали холода, как все деревенские бедняки,—те, что не имели ни слуг, ни семян для посева, ни даже очага,—собирались в прихожей избушки Марии Франкиска, где она пекла и продавала по самой дешевой цене темноватый хлеб из смеси ржи и ячменя. Прислонясь к стене или сидя на полу, они, купив и съев этот хлеб, мешкали там до вечера и даже тогда не решались уходить сразу. Некоторые приносили с собой закуску: селедку или кусок белого и твердого, как мрамор, козьего сыра, а также и вино в маленькой посудине, хорошо спрятанной под мышкой; они выпивали понемногу, а затем дремали.

Тайна этой медлительности заключалась в том, что в маленькой немощной прихожей, освещенной лишь блеском пылающей печки из соседней кухни, и беглым светом каждый раз открывавшейся и запиравшейся двери,—была приятная теплота, уютная мягкость гнездышка.

Когда дверь раскрывалась настежь, в глубине лужайки перед избушкой вырисовывались очертания черных гор, покрытых мехом первого снега. Ветер галопом, подобно дикому коню, спускался оттуда вниз, ударяясь о дом и заставляя его дрожать. Он выгонял дым из печи в кухню, увеличивая молчаливое дурное расположение и упорный кашель маленькой Марии Франкиска. Она выходила тогда в прихожую и немногими, но резкими словами обрушивалась



на посетителей, не торопившихся домой. Кашель прерывал ее речь, и кое-кто из нескромных гостей удалялся, из сожаления к ней, чтобы она еще душе не гневалась и не кашляла. Но двое или трое оставались всегда, глухие и молчаливые, забившись, подобно паукам, в углы, и не уходили раньше ночи. Женщина оставляла их в покое и возвращалась к своему делу. И тогда слышался только шум ветра снаружи, постоянный и однообразный, как рокот моря, а в кухне — стук лопаты в печке и шопот пламени.

Через кухонную дверь мужчины видели маленькую хозяйку, тонкую и хрупкую, как кукла и огромную, черную, сожженную печным пламенем сажавицу хлебов, сновавших взад и вперед, таскавших корзины, вынимавших хлеба из печи и очищавших их от золы пучком листьев мальвы. Корзина с горячим хлебом, стоявшая у входа, издавала запах сена. От времени до времени раскрывалась наружная дверь, тотчас же прихлопнутая силой ветра, входила со вздувшейся юбки та или иная женщина, которая прямо направлялась выбирать хлеб, согреть им свои руки, и протягивала монету Марии Франкиска, не глядя опускавшей ее в карман.

Однажды вошел в избу школьный учитель, с руками в карманах изношенной и застегнутой куртки, в серой шали с бахромой, приподнятой ветром к его бледному и злому лицу изголодавшегося человека. Прикрыв дверь, он направился прямо к корзине, чтобы взять хлеб, — не сгибаясь, не глядя на людей, собравшихся в прихожей, не поздоровавшись с женщинами. Его худое, презрительное лицо, которому косые, зеленоватые глаза и верхняя выпяченная губа придавали выражение дикой насмешки, ка-

залось, на мгновенное покрасневшим от пламени. Он завернул хлеб в край своей шали и пролизес, уходя:

— Мария Франки, сегодня ты окажешь мне кредит: уплатит Коммуна!

Женщина ничего не ответила. Лишь только увидев его, она внезапно поднялась с места и осталась так, побелевшая, раскрыв от испуга рот и глаза. Точно также и мужчины в прихожей не пикнули, смущенные, словно происшествие касалось их самих.

Учитель был хозяином, а затем любовником Марии Франки. Она с детства жила у него в доме. Он соблазнил ее, а потом с побоями выгнал вон, угрожая ей смертью, так как, — говорил он, — из-за нее он не может выгодно жениться. В школе и со всеми окружающими он стал, вдруг, жесток и дерзок. Коммуна уволила его с места, и он затеял против нее тяжбу, которая кончилась тем, что его приговорили к судебным издержкам. В течение нескольких месяцев его видели разгуливающим по селу с презрительным видом необыкновенного человека. Он никого не посещал, ни на кого не глядел, но его уважали еще, так как боялись. Затем он исчез, и все думали, что он получил место в другой коммуны.

И вот, вдруг, к началу зимы, он снова здесь, входит в дом своей жертвы и нагло крадет у нее хлеб, как прежде украл честь и спокойствие!

Его шаги уже не слышались больше на лужайке, но женщины и посетители внутри избышки еще не пришли в себя от неожиданности. Сажальница с лопатой в руке пала сгореть хлебу, оглядываясь на хозяйку, которая при-



стально смотрела большими раскрытыми серо-зелеными глазами на захлопнутую дверь, словно не зная, верить или не верить этому трагическому появлению. Затем, одним прыжком она бросилась в прихожую, заперла перекладиной дверь, о которую оперлась спиной, словно противопоставляя свою силу нападению снаружи, потом, сломленная, испустила крик и упала без чувств.

Мужчины подняли ее, и один из них на руках понес ее на кровать, находившуюся в комнате позади кухни. Женщина не приходила в себя. Струя кровавой пены проступила в углу ее рта.

— Она знала, что он вернется, — сказала пекарша, приложив ей ко лбу тряпку, смоченную вином, — он послал ей сказать, что судебные издержки заплатит она...

— Но, черт побери, почему же она не предупредила? — произнес один из мужчин, протягивая свою посулину с вином, чтобы смочить тряпку. — Если он еще раз придет сюда, я разорву ему поджилки, — как Бог свят, я разорву ему поджилки!..

— Почему она не предупредила? — повторил другой. — Мы, ведь, мужчины.

Но работница указала пальцем, чтобы они удалились. Мария Франкиса подняла ресницы своих испуганных глаз и маленькой рукой, еще белой от теста, стала вытирать вино на щеках.

— Ну, хозяйка, соберись с силами! Хлеб горит, — сказала сажальница, помогая ей, подниматься. И они вдвоем вновь вернулись к работе.

Между тем, мужчины продолжали бодрствовать в прихожей. Они ничего не сказали друг другу, но все поняли, что нужно покровитель-

ствова  
защит  
мени  
хозяйк  
ее гро

И  
она то  
ли, он  
нету,  
лины.  
ничего  
мужчи

Тог  
решил

еслиб  
ты не

Он  
что он

запру

Ноч  
вернут  
любоп  
беспо

Пер  
рию с  
взглян  
койной  
другие  
ге сне  
они в  
нельзя  
киска,  
мло, к

ствовать этому бедному одинокому созданию и защитить его от преследований тирана. От времени до времени раздавался тяжелый кашель хозяйки, а вой ветра снаружи казался голосом ее грозного врага.

И все же, когда кто-нибудь стучал в дверь, она торопилась ее открыть. Это были покупатели, она давала им хлеб, опускала в карман монету, и не накладывала уже на дверь перекладины. Казалось, она ничего уже не помнит или ничего не боится, а позже, когда увидела, что мужчины не уходят, принялась снова ворчать.

Тогда один из них, тот, кто нес ее на руках, решительно поднялся с места:

— Мария Франки, не было ли бы лучше, еслиб кто-нибудь из нас остался здесь? Разве ты не боишься?

Она изумленно взглянула на него. Казалось, что она что-то вспоминает и колебалась.

— Нет, к чему? — сказала она, наконец, — я запру дверь.

Ночью шел снег, и посетители поспешили вернуться обратно не только из-за холода и любопытства, но из чувства сострадательного беспокойства.

Первым пришел тот, кто нес на руках Марию Франки. Он купил хлеб, вопросительно взглянул на Марию и, видя ее бледной, но спокойной, удалился в свой угол. Затем пришли и другие. Все они заботливо стыхизали на пороге снег, прежде чем войти, и это означало, что они не собираются так скоро уходить: ведь нельзя было покидать бедную Марию Франки, которую преследовал ее тиран! Но время шло, и все было спокойно: женщины работали



снаружи тяготело глубокое молчание снежных дней и, казалось, что холод погасил весь мир с его страстями. И все же, каждый раз, когда отворялась дверь, Мария Франкиска обращала туда свои широко раскрытые глаза, словно испуганно ждала чьего-то прихода.

Перед вечером ее охватила сильный озноб. Зубы ее стучали, она напрасно пыталась согреться у печки и, наконец, разразилась плачем, ломая руки:

— Я боюсь, я боюсь, — говорила она.

Работница уложила ее в постель, дала выпить воды с медом. Она обеими дрожащими руками сжимала чашку, стуча о нее зубами, и продолжала повторять:

— Я боюсь...

Мужчины слышали все это, и тот, который нес ее на руках, приблизился к кухне и тихо сказал сажальнице:

— Скажи ей, чтобы она успокоилась. Мы останемся здесь на страже до тех пор, пока этот осел не уйдет из села.

И, действительно, двое из них остались в прихожей. Мария Франкиска лежала в глубоком жару и бредила, не раскрывая, однако, своей тайной муки.

Она казалась озабоченной хлебом, который сгорит, дурной погодой, людьми, замешкавшимися в передней, но в остальном хранила в себе даже перед лицом смерти свое горе и свой ужас.

Две недели пролежала она в постели. Работница продолжала печь хлеб с помощью соседки, а мужчины не снимали своего караула. Но враг был подобен ветру, — то появлялся, то

исчез  
и  
ниги  
—  
его  
и  
и

Н  
в ко  
ия  
хоса

ник,  
твой  
ляе  
ест,  
я  
ли х  
зат

гла  
—  
даж  
к те  
и ст

жел  
кую  
хми

с н  
сл  
ств  
Но  
Он

исчезая, стучался в дверь, но не входил. Женщина, помогавшая печь хлеб, смеялась над заигрываниями Марии Франкиски.

— Но кто же его видел? Ведь никто в селе его не видел! Вам все это приснилось, наверное...

Но именно эта женщина в сочельник вошла в комнату Марии Франкиски, помогла ей подняться, обложила подушками и сказала вполголоса:

— Теперь ты выздоровела, завтра, в праздник, станешь на ноги. Выслушай меня, горлица: твой хозяин находится у меня, в сарае. Он валяется на земле, как больной пес, ничего не ест, ничего не хочет. Он только просит прощения за то, что испугал тебя. У него нет ни дома, ни хлеба. Не прости его, это то же, что отказывать в прощении снятому с креста Христу...

Та молчала, глядя на женщину большими глазами, сверкавшими от слез.

— Мария Франки! Сегодня всем прощают, даже злейшим врагам. Позволь же ему прийти к тебе и просить прощения. Так пройдет у тебя и страх. Что же ты скажешь мне, горлица? Да?..

— Да, — качнула та головой в волосах, отяжелевших от пота. И слезы падали на ее тонкую шею, скатываясь на простыню, как жемчужины порванного ожерелья.

В эту ночь жалостливая женщина осталась с ней, а добрые друзья из прихожей были посланы прочь, так как Мария Франкиска уже чувствовала себя хорошо и не нуждалась в охране. Но тот, кто нес ее на руках, был подозрителен. Он отправился к вечерне и, коленапреклонен-



ный, все время встряхивал головой, точно хотел прогнать что-то надоедавшее ему. По выходе он пошел вслед за группой парней, игравших на гармонии, и прислонился к стене, слушая музыку. Ему казалось, что он все еще находится в прихожей пекарни, в тепле, прислушивается к стонам больной и волнуется ее страданиями.

Когда все разошлись по домам,—через двери которых доносился дым и запах жареных поросят,—он отправился вдоль стен, как слепец, к ее избушке. Там был свет. Он постучал, и соседка открыла ему, впустив его внутрь: она была милосердна ко всем.

Он подошел к кухне и увидел, что рядом с кроватью Марии Франкиса сидит ее враг! Ноги его были вытянуты, плечи удобно расположились в спинке стула, руки он держал в карманах. Она же сидела на кровати, с головой, несколько склоненной вправо на подушки, о которые она опиралась, и на ладони ее руки лежала принесенная им груша.

Сцена эта, однако, нисколько не тронула посетителя. Прилив ярости толкнул его в комбатку, и он залепетал, протягивая руки по направлению к ней:

— Что ты делаешь. Мария Франки, что ты делаешь?..

Бывший учитель подобрал ноги и, не подымаясь, не вынимая даже рук из карманов, презрительно взглянул на него:

— О, о!—сказал он,—где ты находишься? Иди, и чтоб ноги твоя здесь больше не было! Ступай!..

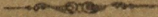
И милосердная женщина взяла его за рукав и проводила до двери. Он остался снаружи, ожидая, когда уйдет учитель. Показалась заря,

но л  
дом

По  
витель  
риша  
войти  
песни  
сход  
разв  
их г

но лишь жалостливая соседка одна вышла из домика: учитель остался внутри.

Подшли другие посетители из числа покровителей Марии Франкиска, но, узнав от товарища, что учитель остался там, не решились войти. Из мести они запели оскорбительную песню, удаляясь группой. И ледяной ветер восхода ударил их в спины и казалось, что он развлекается, играя их лохмотьями и рассеивая их голоса.





## ОГЛАВЛЕНИЕ.

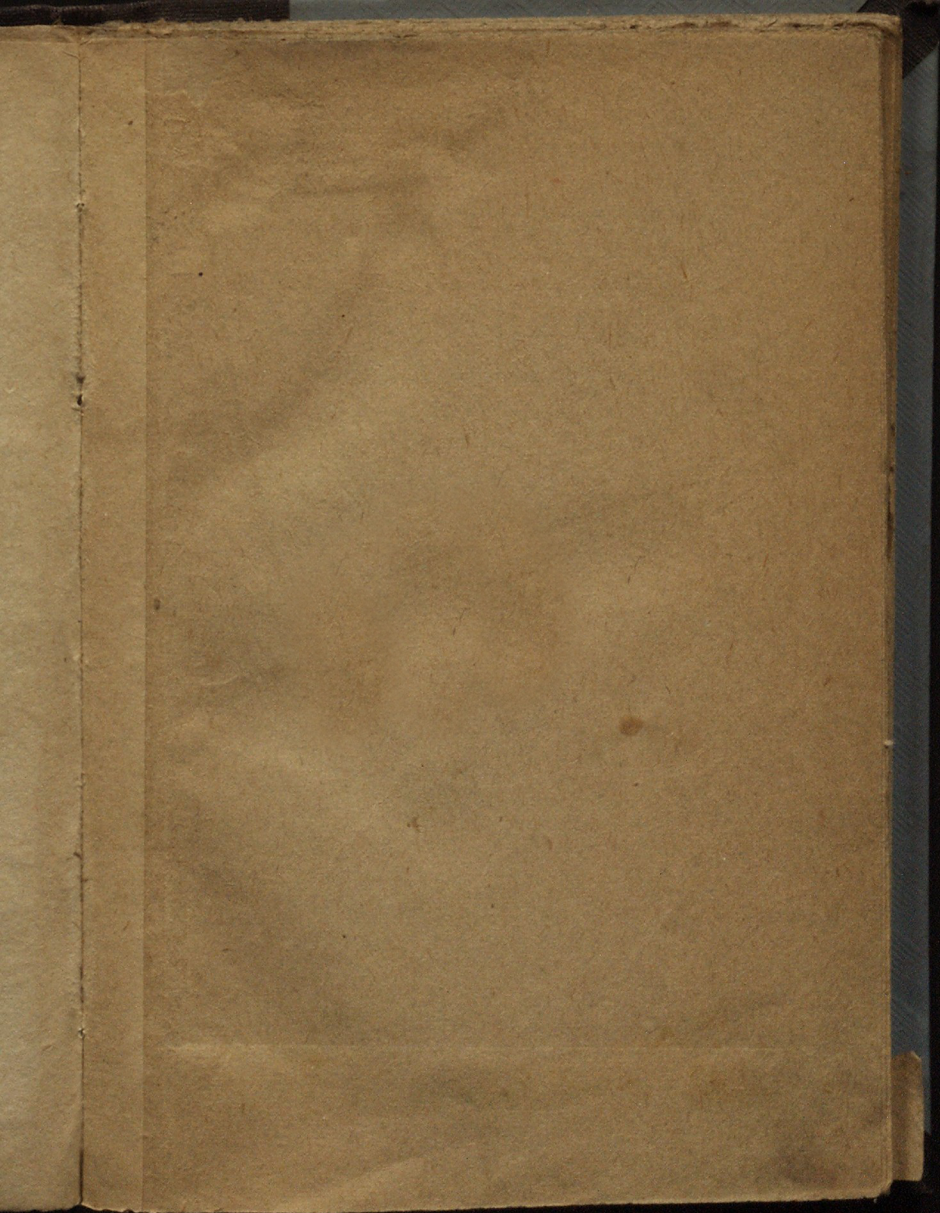
|                                     | СТР.   |
|-------------------------------------|--------|
| Предисловие Р. Григорьева . . . . . | 5—14   |
| Добыча . . . . .                    | 15—23  |
| Шерстяное одеяло . . . . .          | 23—34  |
| Дичь . . . . .                      | 35—42  |
| Клад . . . . .                      | 43—51  |
| Платье убитого . . . . .            | 52—63  |
| Драма . . . . .                     | 64—73  |
| Легенда о Христе . . . . .          | 74—78  |
| Заколдованный дом . . . . .         | 79—88  |
| Сказка . . . . .                    | 89—94  |
| Хозяин . . . . .                    | 95—103 |

Перевод Р. Григорьева.



Типография „Ковчег“, Петроград, Сайкин, 6

Учб.  
б.п.





ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ПЕТЕРБУРГ  
Морская №36.

19/5/1911  
ЦЕНА 11 РУБ.